
ВЛАДИМИР ЛИЧУТИН

ГОД ДЕВЯНОСТО ТРЕТИЙ...

Взгляд из деревенского окна

В последние пятнадцать лет мать — сыра земля крепко подметает русский народ, решительно поторапливая его на красную горку; погосты как-то скоро разрослись, расползлись на все четыре стороны света, подпирая столицу, завоеывая и деревеньки, и поля, где давно ли стеною стояли хлеба, и поросшие чертополошной пустошки, и косогоры, и пастбища, и лесные опушки, и, куда хватает взгляд, будто рати на побоище, полегли упокойнички под мерклое сево дождя-ситничка, принакрылись щитами намогильников, оцетинились крестами, боронят пиками оградок низкое, плачущее горькими слезами небо. Словно бы в последние времена начался великий русский исход.

Эта картина, особенно под Москвою, щемит сердце, заставляет его горестно сжиматься, и невольная удрученность гнетет душу, убивает всякое желание к полезной работе, когда глаза не находят для умягчения ни одной радостной картины вокруг... Но кажется, что и каменные городские вавилоны не трухнут, не проседают в болота, не отступают перед погостами, но, подпирая плечами небосвод, медленной жуткой ступью ополчаются на кладбища, окружают их плотной осадой, готовые стереть, заборонить, чтобы отобрать землю у мёртвых и сдать ее в процент, в рост для скорой прибыли, и оттого думается, что мрёт народишку русского столько же, сколько и прежде; просто он второпях сбежался, сгрудился в одном месте, не желая сиротеть под грустными деревенскими ветлами и березами, уповая, что по смерти под крестами-то авось не раздерутся, не разбрехаются, как при жизни, а в груди под столицей куда как весело лежать во времена вечных-бесконечных, дожидаясь воскрешения. Войско на войско идёт, Дух на Дух, и не вем, кто кого оборет. Где Мамай, где русская дружина, и не распознать; кого боронят, а кто осаждает, не разглядеть во мгле. Куда девался всемилостивейший Спас, на чью сторону скинулась Мати Богородица со святым покровом, нет ис-

ЛИЧУТИН Владимир Владимирович родился в 1940 году в г. Мезень Архангельской области. Выходец из древнего поморского рода, именем предка писателя назван остров Михаила Личутина. Рос в многодетной семье, без отца (погиб на фронте). Окончил лесотехнический техникум (1960), факультет журналистики Ленинградского университета (1962), Высшие литературные курсы при Союзе писателей СССР (1975). Известен как автор романов "Любостай", "Миледи Ротман", исторической эпопеи "Раскол", повестей "Крылатая Серафима", "Золотое дно", книги эссе "Душа неизъяснимая. Размышления о русском народе" и многих других. Лауреат литературных премий имени Александра Невского, Владимира Даля, Большой литературной премии России

кренного гласа и совета. Всё на Руси “сосмутилось”, смешалось, завилось в ко- сицы, как в речном омуте под глинистым крешом, и, погружаясь на дно, обрета- ет свинцовый цвет тоски и грусти.

Вот спешили, торопились, текли людские потоки из родимых деревенок, пе- чищ, выселок, хуторов, сел и погостов за сытой и хорошей жизнью, чтобы, захо- нувшись от бессмысленного бега к Москве, едва достигнув её и навряд ли по- настоящему вкусив чего-то доброго, лечь под грешным Вавилоном в глинистые ямки, залитые водою. Моего знакомого опускали в такую вот могилку, тогда дождь шёл. И мать, прощаясь, потрогала ноги, а покрывальце как-то не додумалась при- открыть, чтобы глянуть на обувку, а похоронили-то, как оказалось, в итальянских погребальных башмаках из накрашенного картона. “Видкие камаши-то, фасонис- тые, есть на что глянуть, а не подумали, что из бумаги”. А ночью женщине сон: сын слезами плачет: “Мама, мне так сыро, так холодно, ноги зябнут. Пошли хоть калоши”. И так во всю неделю. Скоро в соседях покойник случился, пошла, в гроб к новопреставленному положила галоши. “Передай, – сказала, – моему”. С той поры сын и перестал сниться...

Странный этот новый Вавилон и похож на соковыжималку. Столько доброго народа перекечевало сюда с земли из своей родимой изобки, от пажитей, от ми- лых сердцу мест в бараки, казармы, коммуналки, “хрущевки”, чтобы все совест- ное, божеское со временем перемололось, как бы ушло в пыль и тлен, но оста- лись царевать торговцы и спекулянты, процентчики-ростовщики и бандиты, выжиги-столоничальники и проходимцы, стукачи, менялы, “менты” и проститутки, карманники и охранники. И всяк, кто при деньгах, закрылся за стальные двери, как в ячейку бронированного сейфа, да окружился злыми овчарками, оруженос- цами и “крутыми ребятами”. Какая-то не известная прежде дьявольская бацилла, похуже чумы и птичьего гриппа, проснулась, и всё добросердое, божеское ско- ро выела из души, но оставила лишь слизь и слякоть, в которой так тепло и сыт- но прозябать до скончания дней, очервляться и окукливаться, мастерить себе подобных, каменнотдушных. Ну прямо какое-то наваждение и безумие: столица, утратив простонародные обычаи и сельское очарование, стыд, невинность и со- весть, на наших глазах оделась в каменную проказу, стала походить на раздувше- гося ненасытного спрута, явленного из сказки змея-горыныча, пожирающего все лучшее, всё светлое укладывающего на жертвенный алтарь своей ненасытной похоти.

Раньше московские погосты были у каждой приходской церковки, принакры- тые тополями, липами и ветлами, с грачиными гнёздами, с зелёными иль сол- нечными шатерками и луковками, проглядывающими сквозь розвесь ветвей, с колоколенками, малиново подгуживающими в лад переливчатым небесам, перебивающими птичий гай; а постный дух восковых свечей, ладана и елея мешался с запахами куличей и кренделей, кваса и сбитня, выпархивающими из распахнутых окон своей слободки, где каждая изба жила вроде бы и по столичным законам, но по древнему ладу и родовым крестьянским привычкам, усвоенным ещё со времён царя-гороха, и никто эти нравы не старался перебить, переиначить на свой высокомерный вкус. Каждый знал соседа, роднился с ним, печаловался и радовался и ревниво блюл устав и обычай, чтобы мирское быванье не пошло на- перекосяк и впоперечку.

И не случайно ведь, что кладбище, куда сносили близких, самое дорогое, что дано Богом, находилось не вдали от дома, порою и рядом, потому что усопшие родичи и по смерти оставались охранителями жилья, своего рода-племени; в древности русы хоронили своих возле крыльца изобки, иль в саду, иль на меже своей земли, репища и капустаща, ибо более крепкой защиты от недруга иль вне- запного разорения было не сыскать. Оказывается, эти косточки белояровые, хра- нящиеся в земле, как самый драгоценный клад, были и сторожею, защитою ро- дового гнезда. А когда погосты утекли от родимого дома, от своей межи, подальше с глаз прочь, “упокройники” как бы утратили силу оберега; но коли множество лю- да нынче съехали на красную горку преж времён по чужому наущению, отошли с тяжелой ненавистною душою, с тоскою и грустью, то эти враждебные чувства не могут так просто раствориться в сырах и глинах, но неисповедимым образом должны постоянно отзываться на новом Вавилоне. Дух вражды от необозримых кладбищ невольно струит сизым гибельным маревом на разросшиеся города, ли- шая их охранительной поддержки и немеркнувшей любви. Ведь не случайно же в поминальные дни люди спешат на погосты, чтобы не просто обиходить могилки, послать на тот свет даров и гостинцев, успокоить своих родичей, обитающих

ныне в иных палестинах, дать весть, что они не забыты и память о них неиссякнута, но и заручиться поддержкой в своих земных затеях, в убеждении, что из этого последнего поклона умершим произрастает не только душевная теплота, но и выковывается незримая неразрывная цепь родства, делающая нас русским племенем.

Не может быть, чтобы вся жизнь нынче была исполнена покорства, как то приходит на ум, когда оглядываешься окрест. Невольно складывается картина, что вымирание русского племени было как бы замышлено загодя дурными затейщиками (и это сущая правда), а мы лишь не могли угадать его вовремя, чтобы подготовиться натурой, и потому были захвачены врасплох, и оттого так больно рвёт душу этот нескончаемый людской поток на тот свет; не было к печальным временам уведомления, не были мы подготовлены сердечно, живя во спокойе, все ждали какой-то новой радости, а получили дубиной по темечку и, живя в “оглушенном” состоянии, с померклым сознанием, до сей поры не верим в случившееся, принимаем за дикий сон и потому никак не можем вооружить душу должным смирением, как того требуют заветы православия. . .

Эко, скажут, чего запел. . . Увы, смирение часто путают с покорством. Покорный человек упёрся взглядом в землю, как вол в ярме, а смиренный ищет истин в небе и часто находит там ответы, как вывернуться из хомута. В тупое покорство невольно затягивает человека, когда всё происходящее принимается как рок непобедимый; а если так, то зачем ереститься, ширить локти, а не лучше ли, покорясь власти, приняв её за должное, насланное от Бога, податься в услужение бесу, занять свою соту в “человейнике” и не высовывать носа, чтобы не прищемили. . . Лишь из душевного смирения, когда исподволь изникает гордыня и вспылчивый гнев, когда растворяются очи сердечные и всё видится вокруг широко и понимается глубоко, в самый корень, когда выкипает на душе вся сквернина и похоть, выливаясь прочь дурной пеною, и вызревает в человеке необоримое желание воли. Внешне смиренный человек – простак и увалень, а внутри – делатель и промыслитель. Вот ему и Бог всегда в помощь. . . Смирением Бог даёт благодати, любви и долготерпения. Смиранные люди подспудно чувствуют, как долго можно терпеть и для чего надо терпеть; в нужную минуту Бог насылает им дерзости в подвиге, на удивление храбрым и заносчивым; смиренные русаки всегда стояли в ратях до смерти, устраивали Русь во всей её силе, поклонялись Сибири до самого края; гневливые же гордоусы по своей похвальбе и заносчивости роняли голову, как репку, в первой же стычке с “дикими” племенами.

Но увы. . . “Гладко было на бумаге, да забыли про овраги”. Нет общей боли, у каждого боль своя, и только свою боль мы слышим и ощущаем во всей тягости. Пока каждый из нас плачет по прежней жизни, находя в ней лишь одни прелести и красоты, этот плач обезоруживает нас, спихивает в трясины покорства, и мы похожи на сиротливый гурт, потерявший пастуха. Пока лишь какой-то внутренний, раздрыганный, задавленный внутри стон “от собственной боли”, напоминающий скотиний мык, слышен на русских палестинах, народ не может возопить, как требует того оскорбленное сердце, и слиться в единый торжествующий глас победы, который бы и мёртвого поднял из ямки, и самого бы жестокосердного образумил, чтобы тому стало страшно от гневного рыка за содеянное. От этого непротивления, вялого безучастия ко всему, безмолвия и тоски, разлившейся по России, и кажется нам порою, что гибельный унылый покой царюет на Руси, какой случается лишь на погостах, а ростовщики, одним видом своим пугая, как ненасытные вороны, расселись по оградкам кладбищ, услаждаясь духом смерти, дожидаются своей кровавой добычи.

Но пусть не торжествуют “луканьки и нетопыри”, обманом схитившие власть, что все уже прочно улажено во веки веков, застолблено и будет незыблемо и вечно, ибо сила русского духа ещё не выказана в полной мере, не предъявлено по счетам (пока не предъявлено), а это значит, что чаша на весах правосудия однажды склонится в сторону Закона Правды, когда каждому воздастся по заслугам, ибо то, что случилось на Руси в девяносто первом, бывало не однажды в истории, и каждый раз похититель власти, временщик, выстраивал свои оборонительные редуты на грядущее тысячелетие и не менее, но мы-то уже знаем, что из этого получалось. . .

Да, вновь припустили врага в Русский Дом, потому что никто не захотел воевать. Такой внутренний раздрызг был устроен перехватчиками власти, такая вдруг распустиха, безволица и нехватка во всём навалились на страну, что обессилел народ как-то враз, потерялся, словно опоенный иль отравленный, заповодил оча-

ми во все стороны света, ожидая совета и призыва к походу, а не услышав его, не нашедши вождя, не решился прищучить за шкиряку, призвать к ответу малую горстку заговорщиков и закоперщиков. Да тут же подкатили к народу под бочок лукавые советчики “авось да небось”, дескать, а впереди и каравай сытнее, и брага хмельнее, и солнце ярче, захотелось снова новизны, каких-то ярких впечатлений, перемен – подобная сердечная смута не раз подводила русаков на долгом пути. И этим национальным чувствам “новопередельцы” всячески потрафляли, науськивали на минувшее, сообща били на черепки русскую чашу, чтобы растёкся народ по городам и весям, как вода из кушина, как песок из бархана, дескать, что унёс пыли на подошве, то и есть твоя родина. Собирались наивные “простодыры” дружно овсяных кисельков похлебать, да закусить медком липовым, да запить пьяным молочком из-под “бешеной коровки”, а сунули им под нос тюрю из хлебных корок да пустоварных “штей”...

Эх, милые мои русские люди, куда глаза-то ваши глядели, каким варом их заливали, что бесовский сюртук из рыбьей кожи приняли за архиерейскую ризу! Ведь знали же, выслушивая сладкие посулы, что пригласи нечестивца за стол, так он и ноги на стол. Только впусти льстивую лисицу за порог, чтобы обогреться, хотя бы в сенях, так она скоро не только хозяйскую кровать займёт, но и самого простеца-человека погонит взащей вон из избы.

Но не стоит лукавцам, что отоварились бесплатно за казённый кошт, забывать девяносто третьего года, когда русский народ, пусть и на короткий срок, но взъярился на Москве, поднялся на дыбки, и какой грай подняли тогда зловещие враны, собравшиеся уже преспокойно терзать добычу... Надо помнить, что Москва-то и гарывала не однажды, чтобы изжить супостата; за свободу она никогда не стояла за цену; она возжигала кумирни идолам, но так же легко и роняла истуканов, чтобы уже наутро навсегда забыть их.

1. ВЕЧНА

1

Река Нарма в девяносто третьем вскрылась на удивление рано.

Ещё снег лежал по лесам сахаристыми буграми, не истончившись по обыкновению в заячьи шкурки, ещё от ельников наносило морозной стыlostью, а уже тёмная, как чай, мещерская вода, взяв откуда-то силу, в один день вышла из-под зимних скреп, подтопила прибрежные луговины и ручьевины, болотины и кочковатые низинки, слившись в одно бескрайнее море. Ветерок воду морщит, креня сухие перья тростника, солнце играет, слепя глаза, сладким духом наносит из сиреневого краснотала, обметавшего берега, с небес неслышная музыка струит, подгуживает сердцу, и такая тишь, такая русская воля обступает нас, что все тяготы дороги, вся нескладица жизни, тревоги и городская унывная смута столичного содома, выедающего душу до праха и тлена, словно отжившие коросты и струпя, спадают с нас, будто смывает её половодьем...

Весною необъяснимое томление, слезливая грусть и ожидание добрых перемен против воли овладевают человеком. Это Господь торжествует, и от его милостивого благодатного дыхания так умиротворённо в груди, и все грядущее чудится нескончаемым праздником. И так желанно, братцы мои, обманываться, подпадать под сладкий плен этой благодати и, отмечая невольные мысли о быстротечности жизни, хоть на короткий миг почувствовать себя вечным! Будто бы все умрут на свете, а ты будешь постоянно присутствовать на торжественном празднике весны. Всё в природе не только полно красоты, но и той вечности, которой не обороть никакой проказой, потому что каждая травинка, пробиваясь сквозь селетную ветошь, заявляет о себе, и эта вселенская тишина есть на самом деле громовый хорал всего сущего, гимн ярилу, и только ухо тщедушного человеченки, не сумев разобрать музыку по голосовым волокнам, воспринимает её, как полную беззвучную тишину. А ведь всё вокруг разговаривает, ярится, шепчет, заливаётся, тренькает, булькает, вопит и орет, заявляя о себе, побарывая своей волею чужую волю, чтобы соперник, сгораемый ератиком, расслышал голос любви за тысячу поприщ и явился на поединок... Вот с тоскливым протягом, словно болотный леший, ухнула выпь, клювом проиграл барабанную дробь краснозадый дятел, заблеял над головою лесной барашек, провжикал крыльями табунок чирят, простонали журавли, умащиваясь на Пушкином болоте, засвистела подле синичка-теньковка на розвеси черемухи, завозилась серенькая утка в

ближних камышах, сгорая от любви, запорхалась, закултыхалась в реке, намытая тельце, нетерпеливо закричала, запозывала в свой схорон селезня, и он тут же отозвался, как будто караулил возле, пронёсся из-за гривки ольховника, тяжело плюхнулся подле в кулижку воды. Высоко под солнцем, гагакая и подгоняя друг друга, часто перестраиваясь, плыла станица гусей...

Но мы, как-то не сговариваясь, с женой с благоговением говорим почти в голос: “Господи, как тихо! — и каждый раз добавляем: — И чего человек по городам мучается? Это же рай!” Хотя пот с нас катит градом, а впереди ещё пять километров набрякшей от воды лесной дороги через боры и заторы из жидкого снега, а на горбине рюкзак-пудовичок, в котором пропитаньице на месяц — пока-то устанутся пути — да всякий домашний пожиток, без которого край в деревенской избе, стоящей на отшибе от асфальта, как бы на острове.

За протокой нагие дубы стоят, принагнувшись в поклоне над разливом, дремотно отражаясь в темной воде; дымок костра курится, челнок приткнулся под берегом, сидит на переднем уножье лодки мужик, напряжённо смотрит в нашу сторону и, не думая сшевелиться, лениво слюнявит сигарку. “Эй, перевоз, помоги перебраться!” — кричу я.

Мужик неожиданно охотно откликается. Голос хриплый, задышливый, но знакомый мне, хотя лица я пока не могу разобрать: “А стакан нальешь?” — “Налью, куда денусь!”

Мы переплываем, едва не черпая бортами воду. Перевозчик грёб, не глядя на нас, как Харон через реку Лету. Мишку я сначала и не узнал. Когда-то у него были яркие, васильковой голубизны глаза с солнечной искрой, мягкая улыбка, белые зубы и густая челка. Потом он круто запил, ушёл от семьи. Однажды я подвозил со станции его мать, и женщина печаловалась тем смиренным, почти равнодушным голосом, когда самое худое почти свершилось и ходу назад нет, что вот ездил в аптеку за обезболивающим для Мишки: де, сына разбил паралик, он колодой лежит уже с месяц, под себя ходит, и днями надо стряпать блины. Вскоре я съехал в Москву и про себя решил, что мужик записался и отплыл на красную горку... А он вот, оказывается, неожиданно убежал от смерти и принялся пить снова с прежней отвагой. Теперь задубелое от вешнего солнца лицо всё в буграх и шишках, два гнилых зуба во рту, сломанный в переносье нос и мелкие потухшие глаза. Протягивая корявую руку, Мишка пытается улыбаться, как и прежде. “Вот бизнес себе нашёл, — кивает на лодку. — Теперь без бизнеса не проживешь... Мне хорошо и всем хорошо. Верно?” Я киваю, развязываю мешок, достаю “Пшеничную”, огурец, кусок колбасы. “Один не буду, — вдруг отказывается Мишка. У него свой принцип. — Один я её не потребляю. Ну, как у вас в Москве? Все делят?” Я пожимаю плечами. Мы выпиваем привальное, Мишка не закусывает, говорит: “Жрут только свиньи. Им чего ни подай... Колбаса вкус водки портит. Если закусывать, то зачем пить”. Отщипнул от хлебны с детский ноготь, аккуратно положил на зуб. Глаза стали масляными, счастливыми, просочилась жиденькая голубень. Мы оказались первыми на перевозе, и мужик ещё не успел назююкаться.

Чтобы первая не показалась напрасно выпитой, торопливо приняли еще по рюмке; вторая прокатилась в черева особенно охотно, как-то сладко улеглась в темени, в груди сразу захорошело, в голове соловушки запели, взор поплыл по-над разливом, и город отпрянул ещё дальше назад, на задворки сознания, почти забылся, и всё творящееся в столице показалось смешным и зряшным. Там делили пирог, “рубил капусту”, а здесь была русская воля, неповторимый русский простор, которому не было цены. Как хорошо, оказывается, принимая стопарик, вдыхая пахучий дымок костра, смотреть с бережины на недвижную стеклянную воду с пролысинами света, под верхним покровом которой, сбивая на стороны хохлы затопленной травяной ветоши, сейчас пробираются на плодильни пудовые щуки-икрянки, окружённые молоконами! Вот так бы век и сидел, не двигаясь, никуда не спеша, и после третьей стопки Мишкина жизнь показалась мне не такой уж зряшной и никудышной, но полной скрытого смысла, который я пока не разгадал. Никуда не пойду, решил я, останусь тут, на угретой лысой бережине, и буду до утра глядеть в бездонное небо, уже притрушенное на покатых серым пеплом выплывающих сумерек.

Братцы мои, ну что стоит земная слава-временница перед этим вечным покоем, в котором спрятано неразгаданное счастье! Жена поймала моё плывучее блаженное состояние и потянула за рукав. Идти, мол, пора. Ноги стали ватные, жидкие, запинались о каждую кочку и песчаную гривку, под которой ещё не умер лед,

рюкзак-пудовичок, худо укладенный после перевоза, натирал горбину склянками и банками, перетягивал на сторону, норовил уронить.

Но своя ноша не тянет; дополз до своей избы, как ишак, перед мордой которого вывешена торбочка с овсецом. Рязанская деревушка на выселках и была для меня той притравой, той приманкой, которая придавала мне сил. А свой дом в деревне стал земным якорем, центром вселенной, на которую и опиралась вся моя настоящая жизнь, когда город перестал быть надежным прислоном и лукаво, воровски обрубил почти все концы.

Нет, мы не бежали с женою из столицы заполошно, как обречённые лишние люди, которым не досталось у пирога места, но осмысленно сошли на землю лишь на то время, которого хватило бы одуматься, размыслить случившееся, найти верных обходных путей, пока на главной дороге повсюду наставлены вражьи засеки и заставы. Да и надо было как-то кормиться, а земля, если ты имеешь руки, норы и крестьянские привычки, не даст пропасть с голоду. Этот глухой угол, похожий на скрытню, на староверский скит, с родиной, конечно, и рядом не поставить, но с годами я невольно притерпелся, притёрся, пригляделся к опушкам и заполькам, болотцам и озерам, к тёмной глухой речушке с пудовыми щуками, посчитав за свои, и в ответ каждый клоч земли родственно, тепло прильнул ко мне, каждая берёзка на межах, каждая тропка в сосенниках уместились на сердце так плотно, будто я родился здесь, в срединной Руси, а не у Белого моря.

Деревня Часлово появилась в прогале березовой рощи как-то неожиданно и весенней обнажённостью своей, распахом широкой улицы, ещё не обросшей свежей травичкой, показалась вымершей. С зимы изобки выглядели особенно неряшливо, краски потускнели, наличники пооблупились, огороды изредились, на всем лежала печать сиротства и той давней унылой бедности, которой, казалось, никогда не будет перемен, и если вдруг появлялся у дома какой-то человеченко в пиджаке или цветной куртке-болонье, то тут же и скрадывался в подворье, чтобы не запечатлеться чужому взгляду. И наш приземистый домишко, стоящий на ростани, на кресте двух дорог, тоже ничем не выбивался из общего порядка, но сразу обрадовал, что не повыгарывал, слава Богу, а стоит на своём месте, где и оставили его, и древние вязы возле баньки прочно подпирают небеса, и прясла не пошатились, не упали, и амбаришко не покосился, и на передку стекла в окнах не повыбиты, и труба печная не осыпалась. Торопливым взглядом мы обежали своё подворье и невольно прибавили шагу, уже не слыша на плечах ноши, и только когда встали у крыльца и сронили на ступеньку рюкзаки, то по онемевшим плечам, по тоскнущей горбине поняли, как неимоверно устали. Но не время расслабляться, петь лазаря, но именно сейчас, когда дорога сломана и ты у цели, нужно взять себя в руки, напрячься из последних силенок, натопить печи, оживить настывшую за зиму избу, прибрать в комнатах, сварить еды, и только когда яшня со шкварками оседлает стол, а подле приткнётся посудинка с зеленью и бутылек в “бескозырке”, да когда в русской печи загудит березовый жар, забегают по полу рыжие лисы отраженного пламени, вот тогда можно расслабленно выдохнуть: “Уф-ф”, осенить чело крестом, кинуть на грудь стопарик-другой и облегчённо воскликнуть: “Слава Богу, прибыли!”

Собственно, таким порядком, заведённым уже давно, и покатались заботы. Но сначала прибежал соседский кот Гошка с обгрызенными ушами и нахальной седой мордой и стал противно выть, тереться о ноги и требовать “жорева”. Следом явилась соседка Зина со связкой наших ключей от дома. Она уже успела подзаветреть, осмуглиться, но за зиму сникла, как бы стопталась, заострилась личиком, на пригорбленных плечах красная “болонья”, на ногах просторные сапожонки хлябают, на голове зелёный шерстяной платок, шалашиком надвинутый на брови, и старенькая выглядывает из него, как лисичка-вострушка, посверкивая повыцветшими голубыми глазёнками. Зина по-матерински порывисто обняла жену, легко всплакнула, но слёзы тут же и высохли. Давно ли, кажется, провожала нас на зимние квартиры, осеняла в дорогу размашистым православным крестом, восклицала вдогон: “Храни вас Христос, дорогие мои детки!”, — и вот мы уже снова у порога, как и не съезжали. До чего же быстротечно, неувовимо время: живёшь вроде бы долго, а оглянулся назад — словно и не живал ещё.

“Ой, милаи мои-и! И как вы там только живёте, несчастные, в городах. Как мне вас жаль, дорогие мои. У нас-то хоть картопля тут своя, с голоду не помрем. Вот, Дуся, какое времечко лихое настало. Всё как по писанию. Прилетят скоро с неба планетяне и последнего человека с земли увезут”.

“А вот так и живём, тетя Зина”, — сказала жена, потускнев.

“Это всё он, Елкин-Палкин, топором обтесанный. Серый валенок. Огоряй и пьяница. И кто только таких огоряев в начальники выбирает? Не иначе мафинозия. Сталина на них нет, чтоб к ногтю. И-эх...”

Вот надо же, подумал я, уехали от сатанистов, а они, бесовы дети, и тут, в глухой Мещере, достали душу русского человека – и давай терзать. Не отпустят, нетопыри, пока не сокрушат иль не отлетят во мрак аидовых теснин. Подумал сокрушённо, но разговора о политике не поддержал.

Зина вошла в кухню первой и зорко осмотрела жильё: не нарушено ли чего. Следом заскочил котяра и оглашенно заголосоил.

“Вот так и будет орать, пока брюхо не набьёт. А жидкого-то он ись не станет, ему крутяка подавай, щей чтоб наваристых. Лапой-то давай загребать, как ложкой. Ишь сколь круглый, как боб”.

Зина уловила, что хозяевам не до разговоров, направилась к порогу.

“Сын-то как?” – спросил вдогон.

“Да вот так... Ему бы пожрать да выпить, как этому коту. Неисправимый человек. Совсем напрасно на земле живет бобыль. Даве ноги-руки скрутило у меня. Подсказали, как извести болячку. И вот в литровую бутылку спирта влила, мочи своей для натирки и травы “золотого уса”. Знала, что огоряй найдет бутылку и выжорет, так спрятала настойку в русскую печь. А он нашел и выпил. Я палку взяла да его по ребрам давай охаживать: “Подохнешь, синепупый! Вася, – кричу, – мочу ведь материну выпил”. Испугался, пошел к соседу мерять давление. Скажи, говорит, Валентин, сколько мне осталось жить? Значит, жить-то хочет, огоряй. Боится смерти... Так кто её, Владимирович, не боится? Найдите мне такого человека, чтобы сказал: “Я не боюсь смерти”. Это какой-нибудь тронутый головой иль чеканутый, самасшедший”.

Жильё за зиму залоснилось, покрылось тонким налётом жира и пыли, стены ещё более потемнели, состарились, пакля в пазьях обрела грязный цвет, сбилась в узлы и клочья, на полках и шкафах усердно хозяйевали мыши, насаев горюшка. Изба показалась трупищем очоценелым, и если и теплилась в стенах жизнь, то в самой глубине окаменевшей болони, где, сокрытые глазу, по невидимым жилам старинных бревен, по тончайшим волокнам-сосудцам сочились на последнем вздохе древесные соки; только там, в сердцевине угаснувшего дерева, ещё сохранялось тепло, которое возможно пробудить лишь душевным участием и заботой.

Я выдохнул, и пар изо рта выплыл столбом и, казалось, застыл под потолком, окаменев.

“Ну что, слава Богу, добрались, а теперь надо жить”, – подвела итог моим размышлениям жена и деловито засуетилась, засновала по хозяйству, занесла охапку березовых звонких поленьев, сложила лопатой в русской печи, разживила берестечком огонь. Пока шла обрядня, на улице незаметно стемнилось, и отсветы пламени весело заплясали по стеклам. Вечер плотно приник к окнам, вглядываясь с улицы в нашу избу, в зарево пробуждающейся жизни, и мир внешний сразу сгрудился, сжался, весь вместившись в наше жило. И такая вдруг густая тишина объяла нашу избу, что в ушах зазвенело, будто заиграли на улице от мороза электрические провода. “Господи, тишина-то какая!” – вдруг воскликнули мы разом и суеверно оглянулись на окна, по которым играли сполохи. Но это была уже совсем иная тишина – грустная, гнетущая, почти гробовая.

Прислушиваясь к треску сполошливого огня, мы зачарованно глядели в устье печи, где на жертвеннике в яром живом пламени сгорали берёзовые дровишки, чтобы своим теплом участливо подбодрить нас, грешных, и подтолкнуть к жизни.

Изба скоро отпотела по углам и, очнувшись, выплыв из долгого забытья, глубоко с укором вздохнула... Еще день-другой ей отходить от памороки, выплывать из зимнего летаргического сна, привыкать к почужевшим хозяевам, которые так легкомысленно покинули своё гнездовье на долгие месяцы. И когда неотложные дела были улажены, а спать ложиться ещё рано, когда, казалось, на всю-то Вселенную мы остались одни позабыты-позаброшены и никому-то не нужные, когда деятельный народ в столице что-то крутил, выбивал, горячился, кипел и мучился, стремился приманить судьбу к себе, умилостивить решительным поступком, а мы в роде отступились, сдались без борьбы, как бы пошли на попятную, в эту секунду стрелки на часах споткнулись, со стоном остановились, и наше время, уже ненужное даже нам самим, остановилось навсегда. Жена протяжно вздохнула, обвела избу тусклым взглядом: “Устали сегодня... Давай, Володя, спать. А с утра начнём деревенскую жизнь уже по-настоящему. Теперь спешить некуда”.

Натянув на себя сто окуток, жена бесстрашно, как истинная поморянка, завалилась в студёные постели, а я, чтобы заглушить одиночество, включил “ящик”.

И сразу стихия предательства окружила меня, само искрящееся голубое бельмо показалось глазом гигантского циклопа, выглянувшего из преисподней. Боже мой, подумалось сразу, сколько двурушников на один квадратный метр Москвы, сколько негодяев и циников, для которых жизнь ближнего дешевле полушки! На Первом канале, язвительно кривя губы, буровя исподлобья мрачным чеченским взглядом, брезгливо цедил Хасбулатов, второй после Ельцина господин: “Наши министры – червяки, а их чиновники – тараканы. В любую щель пролезут”. Иронический Хасбулатов, мастер подковёрных кремлёвских интриг, два года назад вытиснул обкомовского начальника за сивый хохол в первые люди России, но, увидев, сколь мелок тот умом, чрезмерно тщеславен и груб, решил для себя, что сам-то он, Хасбулатов, семи пядей во лбу, вот и стал безоглядно рыть коварные ямы для своего хозяина и строить засадные засеки. Сухолицый, с серыми впалыми щеками старинного язвенника, горячим тоскливым взглядом и плямкающими в разговоре губами, Хасбулатов был привлекателен мне не только своей зажатой энергией, но и переменчивостью, вспыльчивостью натуры, от которой в самое неожиданное время можно было ожидать всяких причуд. . .

На другом канале заседали толстый (скорее, жирный) юрист Макаров, страдающий от одышки, с глуповатым лицом еврейского раскормленного мальчонки, нахальный “генерал Дима”, без смазки пролезающий в любую щель, нагло прибирающий в свой карман всё, что плохо лежит, и слуга двух господ, мистер-твистер Караулов, невзрачный человеченко с глиняным лицом и оловянными глазами. Они на чём свет стоит топтались на Александре Руцком и глумились над его воинственными угрозами в сторону Кремля; вице-президент носил по Москве два кейса с компроматом, словно бы то были ядерные чемоданчики неслыханной силы, и собирался всех мафиози загнать в тюрьму. Тут была своя интрижка, и одна сторона поливала другую густыми помоями. На Третьем канале оказался сам героический Руцкой, с тараканьими усами, ершистый в словах, напыщенный, седой от пережитых страданий, в своё время выкупленный из афганского плена летчик. Он вещал из Тель-Авива: “Я горд, что моя мать еврейка”. Господи, куда понесло человека, иль он сбрендил совсем? Раздвоился в сознании до того, что крыша у него поехала набекрень. Давно ли говорил Руцкой в Курске: “Я счастлив, что моя мама курская крестьянка”.

Разве подобные интриганы могут принести людям счастье? Их кто просил, поуждал к переделке русского быта? Нет, сговорились меж собою, сбежались в стаю, все зараженные хворью себялюбия, гордоусы, надменные циники и отъявленные проныры, подменившие ум хитростью, правду ложью, а совесть бесчестьем. Они с готовностью прогибаются под обстоятельствами, они в тайном сговоре меж собою, они улещатели, очарователи и соблазнитель, они с легкостью готовы наобещать золотых гор, посулить земного рая, нутром своим твердо зная, что и гривенника не дождутся от них совращённые; извозившись в политическом навозе до самых ноздрей, они никогда не выхоят крыльев до той чистоты и лоска, чтобы взлететь жар-птицею и поразить простеца-человека своей заманчивой красотой. На какое-то время некоторые очаруются, может, и поклонятся пред этими витиями, даже восхитятся их слововерчением, но какие бы блестящие личины они ни напяливали на хари, увы, дух “чижолый”, как из аидовых теснин, невольно выдаст бессовестность, порочность и поклончивость “не нашим”.

И тогда вспомнится назидание святых отцов: де, они (дети антихриста) придут видом как наши, но будут не наши. . .

Нет бы лечь мне баюшки-баю, под бок жены, растянуть измозглые за дорогу ноги и забыться до утра, а там под ранним солнцем и мысли совсем другие угреются под темечком, и жизнь станет не такой уж безысходной. Но я вот, дурень, томлюсь у телевизора и через него, будто в замочную скважину, подглядываю московскую сутолоку, будто надеюсь выглядеть в этом бесовом толковище нечто обнадеживающее для себя, хоть какой-нибудь зацепки в будущее, что всё ещё перемелется скоро, а значит, и толк будет. И вдруг ловлю себя на желании вовсе не православном и понимаю, какой, оказывается, желчью наполнено сердце, как оно распахано до кровищи, если даже здесь, во глубине России, я не могу успокоиться и освободиться от надсады. Так глубоко зацепили меня ростовщики-новопередельцы, и, измываясь сейчас над Россией, нащупывая в ней самое глубинное, сокровенное, пытаюсь корешки этого чувствилища пересечь, они тем самым покушаются на моё настоящее и будущее, оставляя безо всяких надежд. И чудится,

что вот сейчас под покровом вселенской ночи пробудится Господь, приподнимется с постелей, сонно всмотрится в безумное, безнадежное, тяжело больное человечество и немедленно содеет нечто такое безжалостным своим судом, что немедля отзовется на погрязших в безумстве своём... Отмщения хотелось мне впервые в жизни...

... Как жить далее с сердечной надсадою? Как случилось, что остались мы без куска хлеба, и я нынче беднее последнего пенсионера? Вроде бы не лентяй, все последние двадцать лет "ишачил" без выходных и отпусков, и вот на тебе, получай, милок, собачье неприкаянное выживание. Издал более двадцати книг, государство заработало на мне многие миллионы, я же не получил и процента с них. Выходит, меня трижды ограбили проходимцы: сначала Брежнев с Горбачевым, потом Ельцин с Гайдаром, превратив мои нищие, прикопленные на случай рубли в жалкие гроши... Ну и прокураты, забодай их козёл!

Ночь темная, глухая, как броня, лишь тонкий пронзительный свист за окнами. Куда летим? Эх, никогда ни перед кем не заискивал, не пресмыкался, не ловчил, не объегоривал ближнего, куска чужого не вырывал изо рта, к власти не полз на карачках, обходя её за версту. И ныне милостыньки не прошу. И только об одном молю Господа, чтобы с миром ушли все проказники с каменным сердцем, слезли с властной стулки, чтобы не пролилась из-за этих прокуратов напрасная кровь. Эх, кабы зов мой да к их сердцу! Но чую, затворены ушеса их и налиты бычьей кровью упрямства глаза их...

Я не семи пядей во лбу, ничем особым не отмечен, не имею третьего глаза, чтобы наконец-то высмотреть гибельность ловушек, с дьявольской ловкостью выстроенных на русском пути, у меня никогда не было магического кристалла, чтобы прозреть национальную судьбу, и "Аристотелевых врат", чтобы определиться по чёрной книге в этой такой мимолётной жизни. Но отнюдь не в похвальбу себе, как нынче любят выставлять себя проходимцы — "неистовыми борцами с советским режимом", я, двадцатилетний провинциальный паренёк, не зная ничего о сталинских лагерях и "давилъне", как любят выражаться коротичи и яковлевы, я по поведению окружающих, по бесконечно несчастной жизни близких почувствовал, что нами правит некое зло, атомарно распыленное во всём. И потому, став журналистом, никогда не заходил в райкомы и обкомы партии, хотя это было принято по службе, и, скитаясь по северам, в глубине России, лишь укреплялся в своих догадках, что западный марксизм чужд самой человеческой природе, ибо силовые векторы его пути направлены против движения солнца, разрушительны по своему изначальному мистическому антихристову замыслу...

Это не было каким-то моим личностным уроком, и не хрущёвская "оттепель" тому причиной; семя неприятия проросло помимо моей воли, когда солнечный луч упал однажды особенным образом и высветил моему придиричивому зрению тёмные, угрюмые углы советской жизни, где, оказывается, росли и цвели какие-то странные цветы зла, прежде скрытые от моего наивного взгляда. Время вдруг потеряло свою устойчивость, какую-то надежную обезличенность, оно окрасилось в цвета побежалости, как металл при закалке. Считалось за хороший тон хулить и журить всё, к чему можно было приноровить "сталинский режим"; отец, батько, великий учитель, по ком плакала с надрывом вся страна в день похорон, без кого будущая жизнь казалась невыносимой, вдруг оказался исчадием вселенского зла.

Нужно было время, чтобы народ очнулся от памороки, чтобы сердечные очи открылись, и мы смогли различить суровую правду от ложных наветов и злоумышлений. Да, антисистема была антирусская в своем замысле, и выстроилась она на крови, и была она послана нам Богом в особый урок, в котором смог проявиться русский характер в его силе, поклончивости и стоицизме и из этого опыта извлечь для себя пользу. Антисистема защищала себя, как могла, только чтобы однажды не обернуться в систему; таких тираний в человеческой истории случилось изрядно, временами более кровавых и жестоких. Но если жить по нравственным урокам и заповедям предков, нет нужды предаваться мазохизму воспоминаний и мести, но стоит извлечь науку из минувших страданий, чтобы в дальнейшем не повторять трагедии, постоянно помнить, что цветы зла роняют свои семена.

Но, увы! Когда партийцы, кто с пеною у рта защищал догматы, кто каждую строчку моих книг прочитывал под особой лупой, отыскивая в них антисоветизм, кто создавал духовный вакуум, выкачивая из моей родины всякое национальное чувство, все приметы быта и побыта, чем и гордится любой народ, и вот когда именно эти "пастыри", как крысы, побежали со своего корабля, оставляя несчастную паству свою в трюмах с задраенными люками, то именно они, певцы ком-

мунизма, и стали мне особенно чужды. Лишь из чувства протеста к этим “амфи-сбенам” (двуголовым змеям), с легкостью сменившим кожу, я даже подумывал вступить в партию. Для меня было ясно одно: в тот момент разложение партии для государства — это как бы выколупывание цементного раствора, на коем держалась кирпичная кладка, без чего всё здание державы, казавшееся вечным и непоколебимым, неминуемо расползется по швам и рухнет, как “хрущёба”. Именно эти партийные скрепы, эти болты и крючья сшивали страну в единое целое, и никакая конвергенция и общечеловеческие ценности не могли заместить их. Нужно было вводить новшества в костенеющее хозяйство, не трогая пока идеологических шпангоутов, этих ребер корабля. Мечта о “земном рае” в последние десятилетия была настолько подточена эрозией, что сами Марксовы, вроде бы незыблемые фундаменты, стали искрашиваться, обнаруживая подземные провалища и тайные лазы. И вот из партийного червилица, из цековского улья, от кремлевской матки и отроились те безжалостники, внуки “кожаных людей”, которые ради сокрушения Марксовых заветов, ради груды безнадзорных денег, ради мамоны могли пожертвовать всем русским народом, снова пустить его в распыл, в дрова революционной кочегарки, как норовили сделать теоретики мирового пожара ещё в семнадцатом году и во многом тогда преуспели. Они не только отроились, но своим дружным гудом, неистовой толчеёй в коридорах власти, цепкостью и кусачестью скоро заслонили добрых людей, заглушили всякое остерегающее слово. “Если худые люди сбиваются в стаю, то и добрым людям надо объединяться”, — ещё в начале века предупреждал Лев Толстой. Но, увы, добро ещё топчется в пристенные, размышляя попроситься-нет на ночлег в избу, а зло уже прыг-скок в окно без приглашения, да и самого хозяина цап-царап за шкиряку... А если хозяин окажется “порчельником”, да и сам с худыми намерениями, то с подобным атаманом он быстро столкнется и пойдёт ему в услужение.

Александр Яковлев из ярославских мужиков, всем своим видом: мохнатыми бровями, сердитыми волчьими глазенками и плешивой головою, плотно посаженной на короткую толстую шею, умением медленно цедить пустые слова — похож на деревенского заковыристого хозяйчика, что случайно уцелел в коллективизацию, смывшись в город в конторщики иль завхозы. Из того сорта людей, что своей выгоды не упустит и, вроде бы Богу молясь, втихую Бога зачастую попирает; он слывет на миру за многодума, а у бедных за милостивца, что погодит с живою кожу снимать; даст в долг несчастной вдовице пуд картошки под будущий урожай, но осенью потребует два.

Для него спасительным логовом стала “Контора” на Старой площади. Яковлев оказался самым яростным доктринером-догматиком, верным дворовым псом либералов, погубителем русских мечтаний, ярым атеистом худшего разлива, пересмешником русской идеологии, пытавшимся русскую физиономию выкроить на подобие “куриной гузки”; этот угодливый цековский служка, объехавший на кривой и хозяев своих, презирал народ и Россию, пожалуй, ненавидел пуще любого интернационалиста-чужебеса. Где, когда и к кому пошел он в услужение, какими тридцатью сребренниками заплатили ему за шакалью службу, долго не узнать, ибо масонская “скопка” крепко хранит свои тайны за семью печатями. Василий Розанов писал в своё время: “В России даже русское дело в еврейских руках”. Но стоит подправить Розанова, чего он, может быть, не хотел видеть иль отводил глаза: справляется это “русское дело” от еврейского умысла и управления, но зачастую русскими руками.

Нынче по извечному лукавству и тайной выгоде для себя Яковлев звал всех к покаянию. Как водитель слепых, он не мог жить без того, чтобы не спихнуть подневольников своих в яму. Известно: “Отверста дверь для покаяния”. Но покаяние — это личное, глубоко интимное дело, оно не признаёт гласности, можно снять грехи лишь у исповедника. Когда каются прилюдно, бия себя в грудь, — это тешат гордыню, потрафляют себялюбью своему иль лукаво делают гешефт. “Ибо наружное покаяние не цельбу приносит, а погибель”.

Те, кто призывает народ покаяться, тем самым оставляет себя в стороне и к тому народу себя не причисляет, тайно презирая его, как быдло, мусор, навоз истории.

Воистину: “Горе тем, кто зло называет добром, а добро злом, тьму почитает светом, а свет тьмою. Горе тем, которые мудры в своих глазах и разумны перед самим собою”.

Увы, много пришло в церковь неискренних, глубоко испорченных людей. По телевизору молятся, а следом идут самые развратительные фильмы; говорят о

любви к ближнему, а поклоняются золотому тельцу; плачут о слезе ребёнка и убивают тысячи детей ещё в утробе; вспоминают Афганистан, и в то же время погибают на улицах городов десятки тысяч людей; клянут проклятое прошлое, а сами спрятались за бронированные двери; дают подачи рублями и жируют на Канарах, скупают виллы по всему миру.

Коварство, хитрость, засада, неожиданный маневр, подкуп и подкоп, окружение, лукавство, предательство – это необходимые приёмы тактики и стратегии любой войны, когда надо обыграть противника с меньшими потерями, оставить его в дураках. Скверные качества природы человеческой играют на войне на руку и принимают вид самый благородный; приходится порою для выгоды нации пренебречь на время здоровыми наклонностями – душевностью и духовностью, чтобы спасти отечество или армию, соплеменников или сподвижников. Честь, доброта, совесть, прямота помыслов тогда нередко прячутся до времени в запасники души, и Бог на больные вывихи человека как бы закрывает глаза и потрафляет искушениям.

Но скверно, когда гордоусы и циники, обманом схитив власть, свой народ принимают за врага и обращаются с ним, как с врагом, когда жестокие приёмы войны переносят на просторы родины и так умело заманивают простеца-человека в коварно расставленные ловушки, что он и не замечает сразу, как ловко уловлен и повязан по рукам-ногам, и приходится невольно принимать назначенные условия новой жизни.

... Зачем-то побарывая сон, не раз и не два выходил я в ночь и, уставясь в тёмное небо, изнасаженное блескучими, жарко горящими звёздами, высматривал оттуда непонятно какого вещего знака, домогался ободрительного гласа; но только тончайшие, дребезжащие погудки текли с вышин, как будто херувимы играли на вселенской арфе. Деревенка ничем не напоминала о себе, наверное, истлела, уткнулась до утра в примороженную к ночи землю. Я – крохотный, как чахлая, иссохлая, селетняя будылинка, колыбался под мраком туда-сюда, и в груди беззвучно, протяжливо ныла по-щенячьему бессловесная одинокая моя душа.

Вот и прежние Боги неотзывисты, нет им до травички земной никакого интереса. Богиня Корова сонно бредет по Млечному Шляху с тяжким выменем, и молоко каплет из сосцов на серебристую дорожную пыль. Богиня Большая Медведица, задрав морду, вынюхивает по ветру поживу себе; её ступь неспешна и сторожка, и только к осени попадет она до конька моей крыши и заляжет на зимний отдых, высмотрев себе берлогу. Я-то уже съеду в города, и моя избобка, знать, сойдёт ей за надёжное укывище...

Шея моя затекла от долгого блуждания по небу, где вокруг ночных светил, как гончие псы, сновали рукодельные “спутники”, оставляя на чёрной пашне скоро меркнувший свет. Я опустил голову и случайно увидел, как по-за огородом над ближним березняком, будто волчьи глаза, загорелись две тусклые звёздочки, наверное, в сажени друг от друга. Эка невидаль, мелькнуло в голове, наверное, самолёт с Рязани на Москву. Но что-то необычное насторожило меня: уж больно ровно над самым вершинником ближнего чернолесья, над опушкой двигались они, повторяя изгиб горизонта. И вдруг первый светляк стал вспухать изнутри, наливаясь жаром, будто в капсуле развели жаровню, потом решительно прыгнул, взорвался сполохом, и из его недр родился крохотный светлячок, он поплыл следом по-над лесом, как привязанный к своей припотухшей мамке, и вдруг, надувшись как бы изнутри малиновым светом, скакнул к родительнице, чтобы вернуться в её лоно, и сам взорвался, рассыпая искры; так неспешно беззвучно текли эти странные звёзды по кромке неба, едва не цепляясь за чащинник, передавая друг другу пламенную энергию, не приближаясь ко мне и не отворачивая в сторону, точно по окоёму, и внезапно скрылись от моих глаз за огромным древним вязом, одиноко стоящим на холмушке за деревней. Завороженный, я побежал к вязу, путаясь ногами в заиндевелой прошлогодней ветоши, но пока огибал дерево, небесное явление пропало, как наснилось, словно бы древний вяз поглотил его.

Меня охватила дрожь. Может, полуночный холод пробил рубашонку? Я звал чуда, я ждал посланца с небес, одиноко торча под небом. Он явился под самую Пасху и, оглядев меня, растерянного и жалкого, улетел прочь.

Я оглянулся на свою спасительницу избу, она сияла всеми огнями, как московский вокзал, как пароход “Титаник”, ещё не подозревающий о скором крушении.

В комнатах уже оттепело, стекла в окнах запотели, пар от дыхания уже не слоился облаком, не осыпался на пол инеем. Жена спала, чему-то улыбаясь и пришептывая. Нагнулся, чтобы подслушать, и ничего не понял. И не стал будить,

рассказывать о внезапном явлении. Мало ли чудес бывает на земле, и лучше, если бы их случилось поменьше.

...Насулят коварники чуда, а потом расхлёбывай, казнь всю оставшуюся жизнь, что снова попался на сладкие коврижки. “Гайдаровщина” наобещала райских перемен, схватила упавшую власть, а теперь с ухмылкой подтыкивает нас, грешных и сирых: де, куда смотрели, снова, как при советах, “халявы” захотели? А бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Не жизнь устроили народу осмелевшие и обнахалившиеся пересмешники, а наказание: затынут на горле удавку и приотпустят, дадут хватить воздуха.

... И оттого, что “амфисбены” знали глубинную сущность затеянного, но скрывали её от народа, их перемены особенно трагичны и гнусны.

2

Жене действительно приснился сон. Почти вещей.

Ходили по Москве слухи, что Ельцин — пьяница, неврастеник, пытался вскрыть себе вены, когда погнали из Политбюро, во хмелю буен, нравом — самодур, типичный городничий из “Ревизора”: чего хочу, то и ворочу; пробовал утопиться, ещё не будучи при российской власти. Любит подхалимов, всех, кто глупее и подлее его, пирожки супруги Наины Иосифовны и “хазановщину” (не путать с “Хованщиной”).

Помню, сидим поздно вечером у телевизора в Доме творчества в Переделкине, прибежал какой-то мужичонко из писателей и кричит: “Ельцин в пруду тонет! Пойдемте спасать!” И убежал. Наверное, из тех “верблюдов”, кто станет в будущем его оруженосцем (может, Приставкин или Попцов, Евтушенко или Коротич). Утром рассказывали уже в подробностях, дескать, шёл Ельцин с букетом цветов к своей любовнице, заблудился, и леший завёл его в тряс. Стоит по колени в воде и вопит на всю округу, как оглашенный: “Спасите!” Подручники-демократы, кто тасил Ельцина во власть на горбине с большой выгодой для себя, заверещали со всех подмошков, что на русского трибуна и вождя чекисты устроили западню, сбросили с моста в реку. Но Бог, дескать, не дал погубить злодеям надежду нации. Вскоре “вождь” укатил в Америку, облетел трижды Статую Свободы и подписал тайный сговор, закрепив его масонской печаткой. Но мы не знали, глядя на дебелого и моделого, объевшегося беленого честолюбца с седою гривой и повадками уездного купчика, проматывающего отцово наследство, что этот ретивый мужик уже серьёзно болен, и внутри его тлеет погубительная хворь. Ему бы цветики разводять, а он за власть так страстно ухватился всеми восемью пальцами — и клещами не оторвать.

И вот жене привиделся вещей сон со всякими приключениями. Длинный сон, и начало его я пропущу... Дескать, Ельцин, больной, дряхлый, бредёт, едва переставляя ноги, и, завидев Евдокию (мою жену), взмолился, чтобы она помогла ему куда-то дойти. До своей тайной цели? И ей стало жаль больного человека, и она подставила ему плечо, и они поволоклись к неведомой цели, куда непременно надо было попасть Ельцину. И вдруг они очутились в предбаннике какой-то огромной бани, внутри мылся народ, очищался от нажитой грязи, соскабливал с себя немощи, а Ельцина туда почему-то не пустили, а оказался он посреди глубокого бассейна, наполненного водой, на огромной сковороде, стоящей на каменной тумбе. Видимо, та сковорода была раскалённая, потому что несчастного корчило и мучило, и Ельцин снова взмолился, чтобы его спасли... “Но что я могла поделатъ, — рассказывала жена, — если бассейн этот широченек, и никак на ту сковороду не попасть, у меня ни сил нет таких, ни возможностей, хотя бы руку протянуть. Но вижу, что корчит и мучит его, такие у Ельцина несчастные глаза, он так молит меня о помощи, что я заплакала жалеючи”.

“И чего его жалеть? Придумала, кого жалеть, — сказала соседка Зина, выслушав сон, и сурово свела губы в нитку. — Нашла, кого жалеть. Огоряй, серый валенок. У него совесть с пупком обрезали. Его бы (Ельцина) надо на Красную площадь привести, чтобы все видели, каково ему ответ держать”.

Как странно вспоминать, когда Зины уже в живых нет, а она вся в памяти, как в зеркальце, и каждое слово, брошенное впромельк, нынче обретает особую глубину и живость, которые не ощущались прежде серьёзно, но проскальзывали мимо сознания, словно деревенская побрехонька.

И вот в свой черед подошли гонки в президенты: кто власть ухватит. Я говорю Зине, дескать, голосуем за Зюганова. А старушка рассвирепела вдруг: “Ага,

придет твой Зюганов к власти, пенсии у нас отберет. Коммуняки проклятые, хо-рошего человека Вавилова сгноили в тюрьме”. И такое отчуждение в её глазах ко мне, такой необычный сердечный холод в словах, словно бы через меня новые несчастья поселились в её дому, будто это я погубил прекрасного человека Вавилова, о коем прежде в деревне веком не слыхивали. Это телевизор – “машина кретинизма” – надудел в уши наивной русской деревне, в которой издревле лю-бое слово сверху берётся на веру.

С одной стороны, тётя Зина вроде бы искренне ненавидит Ельцина, но с тай-ным оттенком сказочной надежды. Ведь от ненависти до любви один шаг: “А вдруг опомнится огоряй, возьмётся за ум, и всё само собой утрясется, вернется назад, и хлеб снова будет стоить четырнадцать копеек, а русская колбаса – два восемь-десят. Знать, не последнего ума человек, если в Кремль заехал средь бела дня не на таратайке навозной, а на белом коне. . . А от Зюганова ждать нечего, раз власть “коммуняки” сами отдали, да в позор и разруху кинули всё крестьянство, а свя-зываться с ненадёжными людьми, что сами от власти отступились, – это послед-ний сухарь из своего рта вынуть и отдать чертям поганым, что уселись на шею ярмом. . .”

Так примерно размышляла старуха, раскладывая на свой бабий лад полити-ческий пасьянс.

Понадобилось кому-то крепко обнадѣжить Ельцина и повязать обязательства-ми по рукам и ногам, чтобы этот своенравный, честолюбивый человек полез на танк. Да, спасительные ворота в американское посольство были распахнуты на всякий случай, но ведь до того лаза-перелаза в блистательный демократический мир надо ещё добратсья, если бы случился всей фанаберии карачун, когда бы ре-бяткам из спецназа была дана команда на решительный отстрел. Но те “форосские затворники”, кто в августовские дни отдавал подобные приказы, были уже надёж-но прикуплены мировым банком, и рыла обросли густым пушком. . .

Да, поджилки тряслись, но и какую натуру надо было иметь, чтобы ухватить жар-птицу за перо; ведь не убоаясь, полез Ельцин в августе на услужливо подо-гнанный танк, как на пьедестал, показал характер, сыграл ловко поставленную сцену победителя, покрасовался перед задурманенной публикой с глумливо-ди-коватой ухмылкой, де, “мне всё по барабану”, пряча скользкий страх, что вот сей-час, в самом зените долгожданной славы, пуля снайпера продырявит затылочную кость. Такая минута в судьбе человека, да и всего государства, дорогого стоит; кто-то воспарит от обещанного, но больше того народа очень скоро очнутсья от сладких грѣз, мучительно застонут, прощаясь с близкими, иль горестно воспла-чут, проклиная тот хмель. Мал кусочек свинца, но и медведя завалит. Ведь на голову не натянешь бронезилет. Но после, что бы ни гоношил Ельцин на глупую пьяную голову, какому бы чѣрту ни подпевал, какому бы бесу ни кланялся, мно-гие русские против воли долго тешили в памяти то победное зажигательное (об-манчивое) чувство, от которого по-иному мыслилась грядущая жизнь: дескать, “ну и пройдоха, ну и плут, на хромой козе его не объедешь, ну и атаман, пальца в рот ему не клади – откусит! С таким и в разведку нестрашно пойти”.

Тут, братцы мои, главное – народу вовремя выгодно показатсья, не спразд-новать труса, пойти в масть, угодить в “очко”, чтобы без перебора, и тогда весь кон твой, тогда и сам Господь Бог попустит тебе. Победителя не судят на земле, хотя и ежедень проклинаят. А брань на вороту не виснет. Но ведь всякий стыд и совесть надо было побороть, списать за штат и окончательно позабыть, чтобы за-получить лавровый венок.

Само по себе чудно и странно явление Ельцина во власть. Внешне он пример-но выглядит так, как я описал, таким принял его народ, мало сведущий о крем-лёвском спектакле, написанном и поставленном режиссѣрами “за бугром”.

Если у Горбачѣва “были не все дома”, то Ельцин – “без царя в голове”. Как мне думается, человек – нерешительный, часто робкий и колеблющийся, неврастениче-ского склада. Внешне: “Я вас съем!” Что было обманом. Если он кого и снимал из окружения, то лишь из опасения, что его подсыдят и скинут с власти; так ему вну-шали те, кто “был у тела”, имея в этих интригах личный интерес. Сам Ельцин без подпорок не мог сделать и шага, а за плечами постоянно висели наушатели и дуде-ли неистово, в какую сторону двигаться. В Казани на татарском сабантуе, большой, с разбитым сердцем, Ельцин, решив себя показать джигитом, к восторгу публики, разбил глиняный кувшин с завязанными глазами. Лишь охрана президента знала, что повязка-то на самом деле была прозрачной. В этом поступке весь Ельцин. Чес-толюбие выше нравственности, совести и чести. Власть любой ценою. . .

И вот денежки у граждан “схитили” среди бела дня, а Русь не ропщет. Ждала “гайдаровщина” гражданской войны, восстания, мести “око за око”, воинственно-го подполья, эксцессов, террористов; для того и двойное гражданство “сынами Израиля” было задумано, чтобы вовремя смыться за кордон, в обетованную землю, под прикрытие американских ракет. Но эта странная, непонятная Русь молчит, не лезет из берлоги, сопит в две дырочки, но не рычит, не поднимается по-медвежьи на дыбки, чтобы грозно рявкнуть и смертно закогтить обидчика. Пьет, стонет, ползёт на кладбище, стреляется и убивает ближнего, кто уже успел “подбить” бабки и затариться “капустой”, а обидчиков своих, кто свет в окне загасил, как бы и не видит. Даже Ельцин смутился, когда в Архангельске граждане, “по списку нанятые” на встречу президента, верноподданнически подольстили: “Борис Николаевич, вы там держитесь, а мы реформу поддержим”.

И Ельцин отозвался в некой растерянности: “Меня восхищает стойкость русских людей. Такие испытания, а народ улыбочивый”.

Начинался апрель, а до октября надо было ещё дожить.

* * *

... В вешницу река Нарма широко подтапливает бережины, и травяные кочки, будто волосатые рыжие головы, виднеются под прозрачным текучим стеклом воды. Щуки-матухи меж них и гуляют, мечут из плодильницы икру, а следом подбегают, как гончие собачонки, мелкие “мужички” и поливают молоками. Когда солнце в небе, то какой-то жар одолевает, и кажется, что сама вода кипит ключом и этим паром обдаёт твоё лицо, слезит глаза и всего распирает изнутри.

И вот выкидываю я в лодку сетчонку, а щучонки-молоканы висят в ней, как серьги; иная сорвется, не дойдя до моих рук, и, разрезав воду спинным пером, уходит прочь; я провожаю её взглядом и напутствую вослед: “Беги-беги, только далеко ли убежишь!” И действительно, сделав полукруг, щука невольно залипает в ячее чуть выше. Мне весело, и жене, сидящей у кормы, тоже весело глядеть на искрящуюся голубую заводь, сполохи уток, моющихся в тростниках и зазывно вопящих, на сиреневые тальники. И верно, какой неоглядный простор, и мы будто одни на всю Русь. И велика-то Россия, доставшаяся от Бога в неведомый подарок и на нескончаемые труды, чтобы мы берегли и холили эту землю на грядущие времена, и в то же время вовсе маленькая для каждого насельщика, вот с эту речную тёмную мещерскую заводь, обсаженную чёрным ольховником, корявой черёмухой и жёлтыми будыльями камыша...

Но, когда со щукой дело имеешь, надо держать ухо остро и не зевать: у хищницы уцепистые зубы, прилипчивые жабры и, как бритва, тонкие щёки. И только я расслабился слегка, выпутывая из ячеи улов, щука, резко изогнувшись, ухватила мой палец, вонзила зубы. “Господи, больно-то как!” — хочется мне завопить на всю реку. Но я сдерживаюсь из последних сил.

“Ну помоги мне хоть чем-нибудь!” — с раздражением кричу я жене.

“Ну чем я тебе помогу-то?” — она склонилась надо мною сзади, дышит в шею, ей жалко меня, но и хочется засмеяться, ибо действительно в нелепом, беспомощном положении оказался муж. “Бестолковая, нож дай, нож!”

Вот всех этих тонкостей и не найти в дневнике; когда вёл записи в девяносто третьем, тогда досадный случай показался пустышным, не стоящим перевода чернил и бумаги, ибо иные гнетущие события будоражили Россию, но по прошествии лет эта “мелочёвка”, как дрожжи для теста, и создала цветовую палитру, дала на-строение, звук и запах...

... А следующим днём вынимаю сеть из воды и невольно устрашаюсь. Что за диво? Снасть моя в ком-жом, и из этой путаницы глядят на меня три головы змия-горыныча. Скрутились три щуки в груд: матуха-икрянка, а на ней сидят верхом два самца-молокана. Ну тут уж, наученный минувшим днем, доставал улов с осторожностью, надёжно уцепив “полотуху” за глазницы. Дома свесил хищницу на безмене, и потянула она на восемь кило, а длиною оказалась мне до плеча. А щурята-молоканы, что сидели на мамке верхом, как клещи, были вовсе недомерки, граммов по шестьсот. Но коли припутались к речной матерой “бабе”, значит, понадобились ей в урочный час, ибо в природе всё устроено “путно”, в свой черёд, по росписи, и во второй сорт никто не будет выкинут, всяк пригодится по мужицкому делу, какой бы ни удался по рождению...

На четвёртый день ещё при полном речном разливе мою увлестую снасть умотали. И это было для меня настоящим несчастьем. Горько и долго жалел я об этой утрате. Да и как, братцы, не переживать? Не бывало у меня прежде подобного орудия... Да и не предполагал я, что подобные снасти вообще существуют на свете. Сеть-трёхстенка, полотно капроновое, нить тонкая – “жабровка”, ячея “сороковка”, высота стенки на два с половиной метра; снасть лёгкая необычайно, нет ни обычных громоздких наплавов берестяных и тяжёлых свинцовых грузов, а они, невидимые, вплетены в шнуры. Обычно пользовал я сети староманерные, строенные по дедовскому деревенскому обычаю, носить их было тяжело и неудобно, приспособлены они были для деревянных лодок. А тут как ловко исхитрились, придумали люди, знать, не нашего ума и полёта... Ну, кинулся искать по окрестным водоёмам, предполагая примерно, кто уворовал мою снастишку. Кидал блёсенку, думая зацепить. Но увы...

Так, печалась о пропаже, о невосполнимом уроне для моего рыбацкого хозяйства, я однажды подумал: “А что ты, братец, горюешь? Легко нажитое легко и сплывет, и не следует тебе так страдать, мучиться и искать потеряшку, ведь досталась тебе сетишка случайно, была она подцеплена твоим старым другом на Ладожском озере, присвоена бесцеремонно и привезена тебе в подарок. Ведь тогда ты, принимая гостинец, не жеманился, не отказывался, не думал о том, что вместе с приятелем нарушаешь поморские заповеди и ты, что и тому безвестному рыбачку, внезапно расставшемуся со своим снарядом, так же было горько, как нынче тебе, и он тоже страдал о потрате; он этой сеточкой, наверное, “браконьерил”, играл с рыбнадзором в заведенные государством странные прятки “кто кого”... Так что пусть плывёт она по рукам. Туда ей и дорога. Хоть душе спокойнее”.

Но увещевания помогают слабо. Вещь уже стала моею, приросла ко мне, как любимая рубаха к хозяину.

3

Мёрзлый череп земли, притрушенный травяной ветошью, купол тёмного звёздного неба, внизу под ногами едва угадывается бельмо ещё не вскрывшегося ото льда озера, и от заберегов наплывает влажное дыхание воды-снежицы, странное чмокание, всплески щуки-икрянки. Сбоку – кладбище, поросшее сосняком, фонарь молельщика вырывает могильный деревянный крест, похожий на голого человека, сплохи серебристого призрачного света плывут над погостом и оседают в сыром ольховнике.

А кругом на многие вёрсты – погружённые в ночь леса, и откуда-то издалека, как из-за крепостной стены, доносится угрожающий лай деревенского полкана... От деревеньки Часово на холм по извилистой тропе мимо лесной часовенки, мимо кладбища неспешно, подмигивая, всползают огненные сверкающие жуки. И вот можно различить платок шалашиком, стяннутый на горле хомутом, обвисшие плечи, косенькое старое тельце, белый узелок с пасхальной стряпнёю. Вот из-за лесных засторонков прибывают, с заозерья, из всех деревнюшек, когда-то приписанных к этому приходу в селе Воскресение, где прежде была церковь, потом сгорела от молоньи, и вот остались от неё лишь три могучих камня, на которые уставщица тетя Нюра поставила дворовый фонарь с прикрученным фитилем и бадейку с просяным венчиком и освящённой водою, привезенной накануне из церкви. Ветхий требник, обёрнутый в целлофан, она бережно прижимает к груди. Поклонницы становятся в круг, как посвящённые, ставят у ног фонари, раскрывают пасхальные дары: крашенки, батоны, баранки, куличики. Мужей нет, они в ямках за кладбищенской оградой – Господь прибрал. Скоро и бабеней не станет, туда же отъедут; нынче одна забота, чтобы привёлся ко времени транспорт и отвёз. И этих четырёх деревень не станет, на этих же годах вышают, превратятся в однодворицы, и тёмные власти в Москве сотрут их названия с карты России, а вместе с ними утянутся в нети судьбы человеческие, страсти, заповеди и родовые предания, и ничего похожего уже никогда не появится на земле-матери; может, и родится что-то новое, может быть, краше в сотни раз, но будет уже иное, совсем не то.

Двадцать огней поднимаются с холмушки слабосильными ветхими столбами в небо, но куда им поспорить со звёздами. Те, малеханье, чуть больше просяного зернышка, но неугасимые; они зазывно поют сладкие стихиры и пугающе тешат редкий робкий взгляд насельниц.

Уставщица не начинает службы, ещё ждёт кого-то, задирая рукав фуфайки, взглядывает на часы. Нет у неё ни просвинок, ни ладана, ни угольков, ни кадилы-

ницы, чтобы напустить пахучий сладкий дымок на богомольниц, ни свечек, чтобы возжечь на крестный ход, а после выставить на могилки родных. Лёгкий колкий морозец, разбавленный сосновым настоем и киснувшей лесной травой, продирает грудь, неожиданно вселяет торжество и умильность. Невольно шарить глазами по небу, отыскиваешь там Божью тропинку и Христа, который должен спуститься с алмазной горы на землю. Может, он уже за околицей, вон за той дремлющей в темноте опушкой, сидит на поваленном дереве, опершись на ключку подпиральную, и ждёт наших умиленных гласов. Взгляд теряется, устаёт шарить по безмерному океану; Храм небесный огромен, и не хватает сил, чтобы объять его во всей полноте, недостаёт ума, чтобы проникнуть в его глубину, — такова человечья малость. Если уж звезда с маковую зжернинку, так что есть ты, грешный? Миллиарды людей вот так же смотрели в небо и до меня, и так же до озноба продирали их оторопь.

Твердь небесных стен, в которые, кажется, можно упереться руками, вытоптанная до кремня пустошка-алтарь, в центре его — невидимый престол, вокруг которого встали двадцать бабиц, а кладбище — придел. Вот точно так же и две тысячи лет тому назад стояли бабени на лесной лужайке, на пустошке иль на бережине возле реки, на угоре, иль деревенской площади, домогаясь от Всевышнего любви и милости... А где-то в престольной сияют огнями сотни храмов, в тяжёлых золотокованных ризах молятся за Россию архиереи, и под гнётом лет и изнурительной поститвы никнет долу, но пытается выпрямить выю монах-патриарх, кидает с амвона прощающие взгляды на сановных, немолствующих сердцем гостей, которым президент нынче повелел быть на Пасхальной службе... Так, может, и не нужны красно-украшенные, благолепные храмы? Да нет... Русский человек без красоты не живёт, и если её нет здесь, под сводом пасхального неба, то каждая из беззавистных бабенок верно знает, что за неё молятся в тысячах русских церквей.

Женщины терпеливо ждут, не подтыкивают уставщицу.

“Слава Богу, мураш ожил, теперь и нам оживать придётся”, — дремотно говорит соседка Зина.

“Ага... И жить не дают, и помереть не велят...”

“Хозяина доброго нет. Чтоб турнул за шкиряку — да и на солнышко, расповодились. Мафинозия, вор на воре. Одни тащат, другие подметают, что осталось ещё, третьи на стрёме. Паразиты...”

“Прошло время молоко ложками хлебать, настало время молоко шилом ести...”

Тут из-под горы, тяжело пыхая, взошёл мужик в пыжиковой шапке и кожане. Луч его фонаря резкий, широким клином шарит по небу, сметывается по нашим лицам. Глаза у поклонника по-собачьи грустные, похожи на чёрные пустые колодца. С месяц назад у него в престольной зарезали единственную дочь, и несчастный пришёл к озеру с тайной просьбой. Встал позади круга, скрестил руки на груди: ещё не научился молиться. Уставщица встрепенулась, развернула служебник и стала, запинаясь, тянуть канон. Мужик за моей спиной загулькал горлом, застонал. Я оглянулся: из выжженных горем глаз сочилась влага.

“Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его, и да бежат от Лица Его ненавидящие Его...”

Вдруг ощутило посветлело, будто свет истёк из черепа земли, но небо с краями налилось кипящим мраком, и звёзды раскалились добела. Уставщица пошла по кругу, брызгая с просяного венчика на наши лица и дары. Будто робея, привыкая к голосу, затянула фальцетом: “Христос воскрес из мертвых, смертию смерть поправ...” Старенькие подхватили возглас вразброду, с пением потянулись ко кладбищу и, распахнув ворота, затерялись среди могил; мигали фонари, призрачно завивая кольца меж холмушек, озаряли на миг кресты, подола елей и корявые стволы сосен. Я подождал соседку. Увидел, как качается дворовый фонарь, огибая кресты, приближается ко мне. У бабени плат сбит на затылок, красная нейлоновая куртка съехала с плеч, на ногах хлябают голенищами оранжевые сапоги.

Мы спустились к часовне, окунулись в сырой елушник и в ольховый щациник, чавкая в болотине сапогами, подобрались к потаённой молельне. Отломали от белого батона (вот и тело Христово), зачерпнули кружкой из замшелого колодца святой водицы (вот и кровь Христова). Поели, запили, ненадолго притихли, вглядываясь в ночную мрачную чищеру, словно бы оттуда и должен прибрести к нам Сын Бога.

Издалека, из хмари и мари сочилось чуть толще комариного писка: “Христос воскрес!”

* * *

Содомиты правят бал. В телевизоре глум и срам. России на экране не видать: одно скотство. Наставляют бессловесных: не люби, не заводь семью, не рожай, не работай, но пей, гуляй, веселись, как перед концом света. Экономист Шмелев, весь какой-то лоснящийся, будто обмазанный мёдом, щеки плюшками – ушей не видать (про таких в народе говорят: “Эко харю-то наел!”), медоточиво гудит, как настоящий шмель над куртинкою клевера: “Чего зря мучиться? Надо занять у мирового банка для начала миллиарда два доллара, закупить продуктов – и живи – не тужи. Весь мир нынче в долг живёт”.

И улыбается, щурит глазки, сквозь дьявольское бельмо как бы прощупывает меня за тыщи поприщ: слажусь ли с ним в сделке Русью, пойду ли на рукобитье, стану ли с этим протобестией пить магарыч? А уж коли вместях бутылочку-то рос-пить за решенное дело – отступить назад обычай не позволит. Но голос нас, бессловесных, увы, не достигнет уха потерявшей совесть и разум Москвы, потухнет тут же, за порогом избы; хорошо, ежели докатится до околицы, до берёзовой рощи, до ближнего замежка скоро обрастающего сосенником поля, где когда-то пьяно цвела гречиха и возвращались в ульи тяжело груженные нектаром пчёлы-медоносы.

...Ведь знал гайдаровский торгашонок, что уже всё тайно спланировано у “герметиков”, поделено по секретным спискам, отпущены из банка “своим” безвозвратные кредиты, которые никто не будет возвращать; стаи пираний класцают зубами в предвкушении жертвы, ежедневно заходятся в истерике, дурная кровь кипит в жилах от одной лишь мысли, что Ельцин робеет, чего-то выгадывает, тянет время, не даёт команды “убить гадину”, а навар безвозвратно утекает сквозь пальцы. Как когда-то, в семнадцатом, в plombированных вагонах спешили через всю Европу, так нынче от берегов Америки мчатся в Россию тысячи советников и чужебесов, чтобы плотно окуклиться в Кремле и ухватить гешефт.

...Пылит по дороге машина, ловко вывернула из-за угла. Тормознула на середине деревни, не сыскивая укывища: со всех сторон видна, со всех сторон хороший подход. Опять привезли “палёнку” по десять тугриков за бутылку. Все знают “о леваче” – от участкового до прокурора. Народ уверен: начальство куплено. Свяжись, тебе же и накостылят по шее иль привлекут к ответу. Обычно ловят старух, что берут с машины спиртное ящиками, а вечерами отпускают из-под полы страждущим, у кого трубы горят, имея с бутылки пусть и крохотный, но навар. Милиция временами устраивает облаву на этих “шинкарок” с двух сторон деревни; прибыль пустяшный, зато есть “процент раскрываемости”. Соседку мою прижучили по доносу, навесили пятьсот рублей штрафа, ещё пятьсот скостили за старость; она долго клялась, что лишь однажды польстилась на “приварок к пенсии”, продав бутылку, а теперь до конца жизни закажет себе торговлю, уж лучше руку отрубит. Старуха постепенно осмелела, слёзы на глазах высохли, уже, заискивая, просит простить на первый раз. Участковый отворачивает голову, внушительно грозит пальцем – весёлый такой мужик из местных, но по глазам видно, что не поверил. Да и наказывать бы он не хотел, но вышла такая установка из Москвы: “начать борьбу с левачами”. Эх, кабы у старухи был в значке заводшко ликёроводочный, иль пара цистерн со спиртом стояла на станции на запасных путях, иль хотя бы свой магазинишко в райцентре, где можно “палёнку” сбывать за настоящую водку, тогда всяческое вам почтение. Вы “кладёте на мохнатую лапу” – мы закрываем глаза. Таков нынче самый уважаемый бизнес...

Последние мужики пьют обречённо, беспробудно, самоотверженно, будто идут в штыковую атаку с “белоголовой”. Даже и не похваляются, как обычно водилось на Руси, сколько взято на грудь. Отваливается печень – пьют; сердце дрябнет – пьют; инсульт бьёт по мозгам – пьют. Мой сосед Васёк потребляет беспробудно с Пасхи по две бутылки на дню. Иногда по три. И только “палёнку” (не путать с “палинкой”). От хорошей московской водки, говорит, голова шибко болит. “Палёнка”, говорит, душевнее. Весной закусувает листочком кислушки (щавеля); в июне – клубничинкой; в июле – ломтиком свежего огурца. Когда трезвый, слова не вытянуть из него, лишь морщит в тоске худое заветренное лицо, ну а как примет стакашек – язык, как молотилка, и всё норовит повернуть на политику.

“Нас, русских, – говорит, – так просто не взять, подавятся. Мы ещё поборемся, кого хошь одолеем”.

Мы сидим на лавке под ветлою. Девятое мая. Небо – синь, ни облачка, улица опушилась зелёной щетинкой, уже и козе можно ущипнуть. И такая благодать, даже и не верится, что народ на Руси не живёт до ста лет. Вот жил бы и жил, пока не надоест. Говорят, в Беловодье – райской земле, все были долговечные и радостные.

“Мать, мы пьём, чтобы вам денег на пенсию хватило, – Васяка назидательно подымает обкуранный палец. – Мы вас от голодной смерти спасаем. А иначе где денег взять? Нам за наши страдания ордена давать надо. Ой, Владимирович, – это уже ко мне, – они, бабы наши, думают, что всё так легко и что пить легко. Не поверишь, Владимирович, такая тяжёлая работа, не приведи Господь. Куда легче землю рыть. Но мы её одолеем. Придёт срок – и одолеем”.

“Ага, он одолеет. Посмотри на себя в зеркало, синепупый, одна шкура осталась. Висит, как на пропадине околеть, – беззлобно откликается старая мать. Зина уже устала вразумлять. – И куда власти глядят? Распатронить бы всех вас по разнарядке на работы. Как бывало... И не спросят: хошь – нет. А ступай – и все там. Хошь и за лежачие палочки. А на совесть трудились. И когда нам Господь даст хорошего управителя, чтобы в карман свой не тянул и в стакан не заглядывал? Уж, наверное, не дожидаться”.

“Пусть меня поставят, – ухмыляется Васек. Он уже принял с утра и сейчас весел, всё ему трын-трава. – В помощники Жириновскому. Жирик – человек эпохи. Обещал мужикам по бабе и бутылке водки”.

“Тебя поставь, всё просадишь. А что останется, пока спишь, растащат”, – старенькая, приложив ладонь ко лбу, упорно вглядывается в широкий распах улицы, словно бы поджидает гостей. Тихо, меркло в деревне: ни бряку-гряку, не разбудит нечаянным всполохом гармоника, даже не вскрикнет подвыпивший гуляка. И неуж все мужики остались на той войне? Да нет, кажись, приходили: косорукий Ванёк вернулся да Серёжа колченогий. А мастеровые были... детей строить. Это сейчас сели на лавку. “Эх-ма, бобыль ты, бобыль. И куда семья-то растряса?” – тычет сына пальцем в плечо. Тому больно, но терпит, лишь кривит оперханные от вина губы. Силится что-то возразить, но тут же засыпает. “Вот всё думаю, Володенька... зачем на свет его попустила. На одни страдания... Сам мучается и меня мучает. Всё думаю, хоть бы подох. Закопали бы в ямку, отплакала бы на одном разу... Эх-ма... Так ведь и жалко. Палец поранишь, и то больно. А тут сын, ни племени, ни семени. На кой ляд живёт? Вот всё думаю, вот помру поперед его... Как жить станет ирод. Ведь и пензии не заробил, такой непуть”.

“Знать, судьба... Каждый свою жизнь должен прожить”, – ухожу я от ответа, чтобы не растравливать старуху.

4

Из две тысячи восьмого года трудно разглядеть в подробностях девяносто третий.

Из плотного тумана встают какие-то худо различимые островки событий, плавающие по пояс в водянине, без корней и оснований, но тут новой волной густого волосатого дыма снова поглощает их как бы навсегда, лишь доносится из глубины лет какой-то слитный напряжённый шум, прерываемый жутким стоном, стенами по убиенному, бабьим плачем навзрыд, проклятиями, торжествующим смехом, победной песнею: “Артиллеристы, Сталин дал приказ, артиллеристы, зовёт Отчизна нас!” То вдруг из глубины тумана доносится истеричный потерянный вопль Карякина с толковища либералов: “Россия, ты сошла с ума!”, когда наглый сын “юриста”, “ну просто смешной, никому не известный человек-клоун” вдруг обошёл на выборах жирного самодовольного Гайдара на кривой, оставил его с носом, оказалось, народ вдруг выбрал не “грядущий капитализм, приятный во всех отношениях”, но болтливый Жириновский, обещавшего мужикам по бабе и бутылке водки, сына еврея-предпринимателя с Украины. Нынче думец Владимир Вольфович собирается ту отцову фабричку отсуживать у “Кывива...” И отсудит, видит Бог, отсудит.

Как слаба, ничтожна человеческая память. Мыслилось, что никогда не забыть те унижения, те поклепы, ту жидь и невзглядь, что обрушили новые неистовые комиссары в кожанках на русский народ, беря в пример неприглядные дела своих отцов и дедов. Ненависть, презрение, отмщение “око за око”, глум над святым,

посмешки и хула на историю, так не свойственные русскому характеру качества человеческой природы, стали главенствовать в обществе; процентщик, плут, выжига, ростовщик, вор, вышибала, зазывала на торжище, киллер и брокер – людишки, самые презренные во всяком православном семействе, стали за главных в московских пределах, и эту свою скверность, низменность натуры принялись ретиво проповедовать на всю Россию.

Хорошо, что сохранились кой-какие записки из той поры.

“17 апреля 93-го года. Суббота. Канун Пасхи... Удивительно схож почерк двух революций по наглости и бесстыдству; невольно поверишь в протоколы сионских мудрецов. В октябре семнадцатого получили власть эсдеки (большевики) из рук временщика-масона Керенского. Обещая хлеба, заводов, земли и воли, отняли последнее, что было. Больше всех пострадали богатые... В августе 91-го эсдеки (меньшевики) получили власть из рук временщика-масона Горбачёва и, обещая рыночных благоденствий, отняли всё нажитое. Больше всех пострадали бедные и совестные. Взяли власть люди самого низкого покроя, спекулянты, рвачи и выжиги, предатели и ублюдки. Фаворит Евльцина Анатолий Чубайс заявил: “Больше наглости!” Теоретик шоковой терапии Гайдар, плотоядно причмокивая и делая голубиный взгляд (так смотрит палач на жертву, затягивая на её шею верёвку), увещевал: “В рынок нельзя войти без трудностей. Надо перетерпеть. Поначалу будет очень трудно, зато потом будет всем хорошо!”

А мы спрашиваем реформаторов: зачем нам рынок, разве мы просили его? Достоевский говорил о слезе ребёнка, которую не могут заместить все блага мира. Нынче дети от недоедания лезут на свет дистрофиками и астматиками. Нас завлекают “чубайсами” с голубовато-розовым оттенком. Их рисунок хорош для обоев. Поначалу за “чубайс” давали мешок сахару. Теперь – два килограмма масла.

Так оценен мой труд в литературе за четверть века. А как оценить труд моего дедушки с бабушкой, лишенцев тридцатых годов, которые век свой горбатели за “лежачую палочку”, дяди Спиры, погибшего на войне, дяди Матвея, моего отца, оставшегося на фронте, и много другой родни? Почему я, сирота, не могу получить за их труд, за их лишения, но получает некто, едва народившийся на свет новый либеральный птенец?

Нас завлекают помощью и кредитами, как осла торбою сена. Но, милые мои, за всё надо платить; как бы от разделанной скотинки не остались бы опять кости и копыта, а говяду отвезут к себе благодетели. Мировой ростовщик ни копейки не даст даром, он живёт на проценты, он кормится с лихоимства, с чужой беды, со слезы ребёнка, и тот кредит, что даёт нам Америка, обернётся разором и неволею”.

* * *

Нынче каждый выживает, как может. Реформаторы жить по-человечески запрети, приказали выживать. Философия нового времени для обречённых на списание; крематорий запущен, и для него нужны “дрова”. Нет, лукавцы-стяжатели не обратились с призывом к народу, дескать, жить запрещаю (хотя намёки каждый день с экрана под любым соусом), но так устраивают новую жизнь, так упорно через колено ломают привычный быт, такой казуистически-циничный регламент составили для “советских”, что жертве режима выбора иного не остаётся. Но если есть в тебе упрямство по характеру твоему, если сохранилось чуть сил, которые ты прижаливаешь, не расплёскиваешь, но распределяешь, как военную пайку хлеба, то и прозябай на белом свете (выживай); на кладбище под ружьём не поведём, но, один чёрт, когда-нибудь хватит тебя карачун преж времён.

И вот мы с женою решили завести свинью. Какая-то блажь заела: подай нам свинью – и всё там. Только и разговоров вечерами, что да как... И ещё не вырастая животинку, мы уже разделали её и распределили по сортам: какое место на консервы пустить, лытки и голову на студень, сало засолим. А что? Братцы мои-и, ведь не боги горшки обжигают. Зато всю зиму с харчем, а когда горячая похлёбка на столе, иль жарково, иль солянка с грибами, а по субботам студенёк из хрящиков да с чесночком, упаренный в русской печи, то на сытое брюхо можно, братцы мои, подумать и об устройении души, а значит, будет возможность жить, как заведено веками в родимой стороне, а не выживать...

В деревне все водят свинью, так исстари заведено; прежде скотинка паслась на воле: будто дикие кабаны, бродили поросята по лесу, рылись в болотах, ноче-

вали под ручьём Чивером за пять километров от деревни, и ни один волк не задирал эту упрямую самоуверенную скотинку. Соседка Зина тоже каждый год берёт поросёнка, а то и пару; она баба толковая, боевая, всё расскажет. Заглянул в окно на дом напротив, а она, наша часловская подружия, сидит на лавке под ветлою; убегалась сердешная по хозяйству и вот на минутку присела, чтобы охолонуть. Сказал жене, что пойду к Зинке за справкой.

Сидит на лавке грустная, с заострившимся заветренным лицом, а глазёнки, как васильки.

“Барин пришёл”, – говорит девяностолетняя баба Прося, елозя посошком перед ногами, будто отыскивая в песке золотую искринку. У неё круглое лицо с длинным острым носом и впалыми губами. Но телом старуха дородная, неувыдающая. Сидельцы на лавке оживились, подозрительно уставились на меня.

“Почему барин?” – спросил я смутившись.

“Ну а как?.. На деревне без барина нельзя. Я-то ещё барина застала”, – сухо ответствовала старуха. Но в глазах что-то промелькнуло навряд ли улыбки и сгасло.

Баба Прося пришла на свет в начале двадцатого века и теперь по какому-то Божьему замыслу решила встретить новый, пережить всех, кто когда-то появился вместе с нею. Она не старалась как-то по-особенному удлинить жизнь: не бегала трусцою по утрам, не блюла диету, не ходила по докторам и по церквям, не мазалась снадобьями, но лишь много спала и глотала горстями таблетки от головной боли. Всю жизнь она провела в нужде, водила в колхозе быков, таскала мешки с мукой и комбикормом, отчего надсадилась, и у неё выпала матка, после пожара ютилась с шестерыми детьми в чёрной баньке, поминая погибшего на войне мужа, и вот Бог в наказание другим и в награду за праведное быванье сделал бабу Просю долговекой.

“Глупости мелешь, – говорит Зина, как бы извиняясь за мать. – У старых одни глупости на уме”.

Баба Прося обиделась, подхватила батожок под мышку и засемила к своей избе. Зина посмотрела вослед и грустно сказала, как бы подытоживая свои тайные мысли: “Сейчас бы вафельку съесть... Так душа просит. Ране бы кто сказал мне, что вафельку будет не купить, не поверила бы”.

“Чего там, конфет шоколадных не хотели. Бывало, теще привезу, на, ешь, говорю, сколько влезет, так ведь нос воротит. Тех не хочу да тех не желаю, – поддерживает разговор сосед, по прозвищу Зулус, отыскивает хмельным взглядом тещу, а не найдя её возле, обращивается к своей голубенькой изобке с низко посаженными окнами. – Зажрались, вот и результат...”

...У Зулуса бритая, “под Котовского”, круглая, как шар, голова, воловья шея в толстых складках, продубленная солнцем шкура, голубенькие хмельные глазки, на дне которых живет крохотная скорбная мысль. Зулус любит крепко выпить и страсти своей не скрывает. Господь наградил вдовца железным здоровьем, и Зулус, не боясь оприкосить себя, хвалится:

“Три бутылки уже выпил сегодня. И еще возьму... А деньги у меня есть. Захочу – и еще три выпью”.

Зулус любит и закусить: чугунок гречишной каши, литровку молока и яишню на сале из двенадцати яиц он съедает зараз. Ествяного человека и возраст не клонит, но водка зачастую валит на землю, и тогда Зулус на четвереньках ползет к своей избе и, привалившись к стене, что-то громко гугнит, бормочет сам с собою, кому-то грозя; тут же порою кинет его в недолгий сон, но уже через полчаса он по-солдатски шагает в другой конец деревни к бабене, притаенно приторговывающей левой водкою по двенадцать рублей за бутылку. И мужику хорошо, не надо куда-то бежать за винцом, и старухе к пенсии приварок.

Рядом на лавке – “плотняк” Паша Хоркин. У него скопчески желтое, безбородое лицо и грустные белые глаза. Он сидит, как подросток, поджав под себя ноги в шерстяных головках, и задумчиво сосет толстую махорную скрутку. Пелена сиреневого чада над нашими головами. На воле парко, как в бане; куры деловито шаряются возле наших ног, норовят клонуть в тапок. Хоркин неделю назад сколотил Зулусу домовину, и с той поры мужики обмывают обнову.

“Человек должен быть ко всему готов, – глубокомысленно изрекает Зулус. – Картошку посадил, куры есть, коза доит. Теперь вот и гроб на подволоке. Можно пить”.

“Ну дак почто не пить? Много нельзя, а немножко можно, – философически изрекает Хоркин, не сводя грустного взгляда с небес. – А у меня жена была на семнадцать лет старше...”

“Ты мне хороший домик сколотил. Ты, Паша, голова... Как метром смерил, – хвалит Зулус. – Там-то не раз добрым словом вспомяну”.

“А мне и мерить не надо. Мне бы только на человека раз глянуть”, – отвечает Паша, и лицо его собирается в кислую жменю; “плотняка” давно сосет черевная хворь...

Тут по деревне от избы к избе покотился шумок: так бывает, когда случается беда. К нашей лавке бежит Панечка, заполошно машет руками, будто пожар сзади догоняет.

“Ой, Паша, Паша! – кричит издалека. – Мой-то Ваня помер. У меня голова кругом. Где гробик-то взять моему Ване? Хоркин, пособи, сделай милость”.

“Не могу, – сурово отрезал Хоркин. – Рук не поднять, всё во мне оборвалось и обвисло. Как с крыши упал, так всё и обвисло”, – неприступно повторил Хоркин, как отрезал.

“Ну так что мне-то делать? Вы же мужики. Подскажите. Заснул – и не встал. Раздуло, как стыклу... Разве так бывает?”

“Бывает, Панья, и не то бывает. – Зулус шарит по бабе (когда-то миловидной) мутным взглядом, и что-то трезвое, жальливое проясняется в глазах. – Бери мой ящик... Совсем новый. Только с отдачей... Ванёк-то мой друг, а с другом и горбушку хлеба пополам... Только с отдачей. Слышь?”

“Ну как без отдачи-то? Иль мы не люди”, – торопливо соглашается Панечка и бежит дальше. Зина охает соболезнующе, покрывает грудь новым фартуком, голову чёрным платом и идёт обмывать покойника... Разговор мой о свинье так и не состоялся.

... На третий день Ивана закопали. И не старый бы ещё мужик, только что на пенсию вышел. Работящий был, а тут вдруг постановил себе, что дальше жить – только небо коптить, вот и запил сердешный и помер. Он и раньше попивал. Ну, не до положения риз, ну, порою крепенько, но всегда дело помнил и хозяйство вёл, по людям не побирался, слово держал и топором крепко поддерживал старушонку: где что покосилось, – он всегда под рукою... Гроб пронесли по деревне, перед каждой избою старухи останавливались, подкладывали под домик табуретку, пели визгловато, тенористо, высоким голосом: “Христос воскрес, смертию смерть поправ!” И осталось на деревне четыре мужика: Серезок (муж Зины) с сыном Васякой, “плотняка” Хоркин и бывший охранник Зулус.

На тех же днях соседка Зина понесла вдовцу Хоркину банку молока от своей коровы. Зашла, а Хоркин лежит в кровати пластом с посиневшим лицом и уже не дышит. Поспешила старуха в соседнюю деревню звонить, чтобы “скорая” приехала. Прибыла из участковой больницы медсестра, взглянула на Хоркина и даже укол не воткнула. Говорит, вечером так и так помрет, вызывайте родных на похороны. И снова поспешила Зина в соседнюю деревню, чтобы отбить по телефону телеграммы.

Утром поплелась обмывать покойника. Дверь в горенку открыла и обмерла: сидит Паша Хоркин посреди комнаты и смолит свою “душегрейку”. “Ах ты, гад синепупый! – завопила старуха. – Ты же был совсем околеть! Я же обмывать тебя пришла! Родные хоронить тебя едут!” – “Ну и что, бывает, – равнодушно ответил Хоркин. – Соберутся, дак хоть вместиа винца попьём”.

Вскоре зашумели под окном машины, накатили дети, внуки, племяши, свояки и свояки. Раскрыли багажники, стали добывать венки да ящики с вином и закусками. Бабы с ходу в рёв. И вдруг на крыльцо сам покойник выходит в фуфайке и заплатанных катанках... Было после разборок-то да криков. Ну, помирились, причастились хорошенько, не увозить же вино обратно во Владимир, а местным старухам строго-настроено наказали: вызывать родню на похороны, только когда глаза закроет...

И вот мы снова сидим на лавочке под ветлой. Хоркин простодушно смотрит в небесный простор, заслоняя себя клубами пахучего дыма, словно бы никогда и не умирал. Зулус матерится, что друг Ванька оставил его без гроба.

“Не переживай. Не время, значит, – утешает Хоркин. – Значит, пожить велют. Освежи стакашек, – трясущейся рукою плотник поднял стопку, медленно выцедил, с шумом выдохнул, занюхал рукавом. – Вот возьмусь с силами, сколочу тебе ящичек”.

Тут к заулку приближается Панечка, ведет на веревке козу. У козы вымя с детский кулачок, а зеленые проказливые глаза, как у гулящей девки.

“Ну ты, озорь”, – дергает баба животинку за поводок, а сама прячет взгляд, норовит проскочить мимо нас, будто бы занята срочным делом. Зулус протягивает через тропинку ногу, как бы ставит шлагбаум, и тормозит бабу.

“Когда должок вернешь?” – простуженно хрипит, и воловья шея наливаются багровой краской.

“Да как я тебе верну-то? – пугливо откликается женщина, сивые реснички вспархивают, выпуская на волю слезинку. – У меня и сил-то таких нету”.

“Долг платежом красен. Иль ты меня не поняла?”

“Ну будя тебе, будя, – вяло цедит Хоркин. – Так припекло, что уж годить не можешь?”

“Да, не могу. Где взял, там положь! Никогда не делай ближнему добра. Останешься в ж...”

“Может, ты и прав”, – задумчиво тянет Хоркин и зачем-то разминает сухие кривоватые пальцы. Панечка, воспользовавшись минутой, через силу тянет за собой козу и скрывается в заулке...

Уж не знаю, как там все утряслось, но только через неделю возле зулусовой избы на квелей травке стоял гроб. Зулус деловито обошёл домовину со всех сторон, примерился и лег. Сначала ему, наверное, показалось тесновато, и он упруго пошевелил плечами, как бы влезая в ящик. Со стороны мне был виден породистый нос бульбю, широкий подбородок в серебряной щетине, круглый лоснящийся лоб и холмушка упругого загорелого живота.

“Ещё бы подушечку под голову... А так всё впору. Молодец, Хоркин”, – басил Зулус на всю деревню, слегка подпрыгивая в гробу; ему не терпелось похвалиться обновкою, но все как-то чурались подойти поближе.

Зулусу лежать в гробу надоело. Вылез, водрузил домовину на горбину и поволол во двор.

“Самостоятельный мужик, – тусклым голосом похвалила Зина соседа, проводив взглядом. Сидит бледная, несчастная, слова цедит через силу, уныло качает ножонками, пристально разглядывая красные резиновые сапоги. – Всё сам, всё сам. Пьёт, а дело знает. Ему и жены никакой не нать, – она пожевала тонкими губами, с прицелкой вгляделась в меня. – Ой, Владимирович, милый мой, пожить-то как охота! Хоть бы сколько-то денёчков ещё пожить... Так ведь не дадут, паразиты, гонят с земли. А я смерти-то так боюсь”.

“Кто тебя гонит-то, Зинаида Сергеевна?” – вопрошаю я для проформы, хорошо понимая, куда клонит старуха.

“Кто, кто, дед Пихто. Вылюдьё и гонит, кто на власть уселся...”

Прошла проулком в сторону соседней деревни тяжело груженная машина, проседающая колёсами в сыпучий ярый песок.

“Не поросят ли повезли на продажу?” – спохватился я, помня свой интерес.

“Нынче возить не будут... Не укупят, денежек у народа нет. Свиныню, Владимирович, таком не прокормишь, ей надо хлеба амбар. Нечего коли делать, так заводи, баба, поросё. Столько с ней хлопот, а прибытку никакого. Больше денег упехаешь в неё, мясо само себя не покроет. Легче на рынке взять...”

“Ну своё-то мясо лучше... Тушёнки накатал, сала насолил, студня наварил из мослов, солянки с капустой и грибами нажарил...”, – тяну я своё.

“Своё-то, знамо, лучше... Своё без химии, только хорошим кормишь. Молочка ульёшь не жалея, – тут же соглашается Зина. – Кусок в глотке не застрянет, как вспомнишь, сколько уплочено. Эх, сколько раньше скота держали! Стадо свиной как пройдёт деревней, улица дрожит. В каждом доме по две да по три. А коров-то было, а овец! Жили не тужили... А ты чего про свиныню-то спросил? – с подозрением спросила старуха. – Не держать ли решили? Не хватало вам забот... Не было забот, дак купила баба поросё”.

“Да так...”, – я неопределённо пожал плечами.

А Зина, глядя в пространство, по-за леса, растекшиеся вокруг деревеньки, по-за белояровые, золотистые высокие стога облаков, сметанные небесными работниками, расставленные по окоёму, вдруг жалуется неведомо кому, наверное, самому Господу: “У сильного всегда бессильный виноват... Всё хуже, всё тягуче жить... Народ и так на одном хлебушке сидит. Только хлебушком и пробавляется. Скоро падать будут старенькие по дорогам: хошь и грабь их, да грабить нечего. Привезли нынче мешок овсяной муки, вот и наварят на всех...”

* * *

Деньги на свиныню нашлись в Москве у друга Проханова. Проханов был истинный друг, и только у него я тогда мог сыскать помощи.

“Ну, как дела?” – спросил он по обыкновению, сразу спроворив закуски и водочки. За рюмкой мой язык развязался, я стал плакаться на судьбу, мямлить, позывать на жалость к себе, не думая меж тем мямлить, но откуда-то такая тоска вдруг навалилась, так черно, так беспросветно показалось всё вокруг, будто один я оказался в жалкой изобке посреди вселенской вьюги, а тут вдруг открылась дверь, и из снежного вихоря выткался Проханов; и вот неволью потянуло зарыться в жилетку друга, постонать и тем как бы облегчить душу хотя бы на время. Но разговора не получалось, ибо я появился как бы с другого света, из иной, полузабытой советской, жизни, которую многим в России так хотелось вернуть, и еще жили надежды, что это непременно случится. Проханов смутно улыбался, говорил о барахольщиках, спекулянтах джинсовым прикидом и шулерах, что пришли к власти и новое бытие устраивали на свой лад фарцовщика и проныры.

... Саша напрягал себя, чтобы учтиво выслушать меня, но это стоило ему напряжения, ибо, влезши по самые уши в коварные политические интриги и опасные авантюры, воспринимая их, наверное, как азартную рулетку, сложную игру для ума, сочиняя мгновенные союзы и случайные товарищества, он уже не мог слезть с той коварной предательской карусели, на которую сам же добровольно вспрыгнул, хотя мнилось ему, что в любую минуту он способен высвободиться из тугих лямок. Это была его стихия, которую, быть может, Саня ожидал многие годы, и он не мог отсидеться в стороне. Ибо оставь лишь на миг крутящуюся зыбкую стулку, и это место немедленно переймёт кто-то другой, решительный, схватчивый и честолобивый. Куда-то далеко-далеко уже отъехал прежний Проханов с его мечтами о тихой отшельнической скитской жизни, о деревенских проселках, вечных русских лесах, в сырях и глубях которых созревало новое время человечества, о вселенских космических пространствах, где неумоимо кочевали, как неведомые глубинные рыбы, целые галактики со своими человечествами, погрязшими в революциях. Отныне прежнее время покоя подсознательно стало чуждым ему, оно отбирало страстные чувства, сковывало зарождающиеся энергические метафоры, превращая их в прах и тлен. Борьба ускоряла время и давала истинный смысл жизни. Проханов еще не признавался себе в том, но душа его уже была болезненно опалена призрачной властью над умами, кою давало взбаламученное время; из хаоса, как Господь из глиняной скудельницы, Проханов играючи вылепливал свой мир, вчинивал в него идею, как зародыш в яйцо, ибо только в хаосе можно сыскать всё то, к чему тянется любопытный взвихренный ум. Хаос – это то бучило, тот водоворот, в котором могут утонуть тщеславные и самолюбивые, заносчивые люди, что без царя в голове, без предвидения и анализа, но иные, толковые, энергические, всплывают на поверхность уже с совершенно новым лицом, словно бы побывавшие в купели с живой водою. Превращение это лишь на первый взгляд могло показаться случайным; нет, вся натура Проханова, склонная к перемене мест, аффектации, жесту, парадоксу, гиперболе, принуждала скинуть “старую кожу”, хотя бы вместе с нею могли стать “ненужными” все прежние изнурительные труды. Нечто подобное случилось с моим другом: он и в книгах-то своих стал новым, почти лишенным сентиментальности. В нём было слишком много родящего семени, и оно просилось наружу. Что-то из пережитого отложилось в памятные кладовые души, но напоминало о себе пусть и реже, но резче, до слезы, до сладкого умиления минувшим, тем самым умягчая невольную чёрствость, свойственную революционному поведению.

“Порою я чувствую странную жестокость и равнодушие к близким, чего прежде не знал, и эта перемена меня страшит”, – признался однажды Проханов.

“Если ты эту перемену знаешь за собою, значит, ничего пока не случилось”, – утешил я друга.

Саша рассказывал, как в Крещение был у иордани: ночь, купель, вырезанная во льду крестом, чёрная вода с блестками луны, крупные жаркие звёзды в небе. Он погрузился в ердань, его ожгло, но он как бы и не почувствовал холода, вышел из прорубки, оделся и, топчась на снегу, глядя в бесконечное небо, вдруг заплакал от нахлынувшего умиления... Слёзы умиряли и очищали. Такое чувство нашло единения со всем белым светом, и Бог тут приблизился, встал рядом, добрый и прощающий, будто Проханов-молитвенник пришёл к исповеди и каялся в нажитых грехах. Это было чувство редкой радости... Отныне осколки прошлой жизни, как сопроводительные духовные вешки на жизненном пути, стали появляться на страницах новых военных романов, и именно эти сладкие впечатления былого и умягчали тяжкие от губительных страстей книги и наполняли их путеводным небесным светом... Проханов стал бояться внутренней остуды, остылости,

как хвори, невольно подсматривал за собою и, улавливая перемены, пытался остановить их или хотя бы замедлить, страшась превратиться в обавника, — обольстителя чужих душ; теперь чаще обычного он беседовал с монастырскими старцами, владыками, чернецами-монахами и священцами, призвав в духовники газеты “День” светлого, как небесное солнышко, воистину русского святого священника Дмитрия Дудко.

Задели внутренне какие-то протори? — безусловно; появилась окалина на душе? — наверное; при закалке и металл становится иным, утрачивает вязкость и мягкость. Но перо успеха было ухвачено у жар-птицы, и теперь в этом коловращенье, когда смешались все понятия, можно и саму её залучить в клетку. Время революции имеет особые свойства: оно обладает тем жаром, что готов испепелить заносчивого человека, влезшего не в свои сани. Но если не ошибаться больно, если не обдирать локтей и не наживать синяков и шишек, продираясь сквозь полчища самозванцев в господя, то как понять, где твоя упряжка, где твои верные гнедые, что не подведут? Вроде бы и сам был затейщиком схваток с “новопередельцами” и вроде бы улавливал тончайшие токи, витавшие по Москве, когда люди неверные и подлые сходились в стаи, но так же пытались сбиться в дружину люди совестные, но у них эта сплотка плохо получалась, и каждый раз рушилась по капризу человека, хотящего несомненной власти. Никто не желал поступиться своей гордынею, хоть на время уйти в тень, все силы прилагая на освобождение родины, и хотя с участием Проханова и создавался фронт национального спасения, но на каждого рядового бойца тут же сыскивался свой вождь, управитель, который тащил кресло власти под себя, и потому праведное дело тут же рассыпалось в клочки. Проханов пытался заново штопать лоскутное одеяло сопротивления, но оно, торопливо сшитое на скудные гроши, работою “раскольников-гапонов” снова расползлось по швам, чтобы усилием добросердечных людей снова кое-как склеиться заново... Как говорится у портних: “Шей да пори, не будет другой поры”. Газета “День” походила не только на штаб фронта, на теневой кабинет министров, где каждый день проигрывались военные маневры, но и на проходной двор, куда слетались на свет всякого сорта люди. Здесь можно было встретить и бывшего члена Политбюро, и министра, академика, архиепископа, монаха из лавры, маршала, скромного “макинтоша” с Лубянки, разведчика из ГРУ, прониру из Европы, что под видом журналиста вынюхивал возможности оппозиции, главу компартии. Генералы, не имея под своим началом солдат, приносили сюда свои разработки военных действий, прозаики — обвинения режиму, поэты — плачи по разрушенным церквям, философы — мысли о будущем России; будто случайно заходили авантюристы, нарциссы, проходимцы; бойцы невидимого фронта, готовые положить жизнь за други своя, герои Афгана; русские безымянные предприниматели, что оставляли деньги на общее дело и тут же исчезали навсегда; мечтатели, революционеры из глубинки; изобретатели вечного двигателя; историки-националисты; юродивые, нищенки и божедомки, актеры без ролей и потерянные художники. В коридоре у окна постоянно сидел бомж, спившийся поэт из Казахстана, и тоже терпеливо дожидался своего часа, когда наконец-то утихнет это взбудораженное бучило, скрутится в свиток, оставит в покое газету “День” на Цветном бульваре, тогда освободится диван, на котором столько пересидело воинственных и страдающих людей, и ему, человеку без крыши над головой, удастся прокоротать до утра... И так изо дня в день текли люди через комнатушку Проханова, как вода из крана, в котором прохудилась прокладка.

Разглядывая этот людской поток, я невольно чувствовал себя бездельником, смывшимся в деревню на “свежее молоко с земляникой, просольные огурчики и яйца”, — так представляют жизнь на земле московские культурники. Вот они-то, праведники, воистину бились за святое дело, они жизнь свою собирались положить на алтарь Отечества и потому искоса могли поглядывать на меня: действительно, ну что дельное мог предложить я, Владимир Личутин, в глуши рязанских лесов кропающий уже второй десяток лет роман “Раскол”. Братцы мои, ну кому нужен нынче семнадцатый век, староверцы, Никон, Аввакум, смятение русских умов, когда более страшное и тяжкое творится на дворе; достаточно выйти из своей подворотни до первого “комка”, где пошлость и разврат показывают себя в полном бесстыдстве, — и увидишь новую революцию без художественного обрамления... Тогда в “горячие головы”, ошалелые от дурмана и угара, трудно было вбить мысль очевидную, что ныне, в девяносто третьем, лишь продолжается тысячелетний поход против русского народа, а науку побеждать можно найти в уроках отечественной истории, вроде бы ушедшей уже далеко вперед, и в том же рас-

коле. Староверчество как апофеоз духа, как вершина жертвенности... Смерть в монастырской темничке иль на добровольном костре лишь за одну букву "аз", за святую идею. Вот кому можно подражать. Найдись лишь тысяча подобных людей – и новопередельцы будут стерты из жизни, как дурно пахнущее пятно. Но этой тысячи и не было... Они созрели, прорастали где-то в глубинах России, пока неизвестные народу новые мученики...

"Вот скоро закроют газету, и я тоже уеду в деревню, буду рыть землю, садить огурцы, вечерами смотреть на закат. Это же великое, дарованное Богом счастье быть наедине с природой! – тёмные глаза Проханова налились влагою, какое-то умиление сошло на лицо. Он пристально посмотрел на меня и вдруг сказал мечтательным голосом: – Слушай, Володя, а не завести ли тебе свинью? Это же здорово, иметь свою свиньюшку, слушать, как хрюкает она! Ну и харч в зиму. А мы тут будем сражаться". Я не успел объяснить о финансах, как он тут же прочитал мои мысли и сказал: "А денег я тебе дам. На поросёнка и на корм. Но с тебя свинская ляжка".

И словно бы у него и деньги были заготовлены для меня заранее, достал из портмоне сорок тысяч...

* * *

Увы... Писатели относятся к той категории людей, которые многое знают поверхностно, многое помнят мистически, иногда предвидят сердечным оком, но мало кто из них умеет хоть что-то делать руками. (Редким умельцем-"ремесленником", художником человеком, отмеченным перстом Божиим, был Дмитрий Михайлович Балашов. Хотя вышел не с земли, а из артистической семьи, из-за театрального занавеса. Но это лишь исключение из правила.)

... Даже если ты родился в деревне и "пропах навозом", спал на сеновале иль на полатах, укрывшись шубняком, а за печкою визжал поросёнок, иль мыкал телёнок, иль терлась боком о припечек козичка, оставляя пух, и корова шумно отпыхивалась, надувшись поила, не где-то за тридевять земель, но за избяной стеною в хлевушке, и пил ты парное молоко с пенкою, а на зорях, пока земля умыта росами, шел вслед за отцом с косою, ловко укладывая к ногам волглую траву, а после ворошил подсохшую, сгребал в копны, навивал сено на вилы и метал в стога. И лошадь была тебе в подручниках, ты мог запрячь ее в сани-розвальни и зимю без опаски поехать в лес по дрова, иль верхи охлупью удариться на водопой с таким неистовым восторгом, будто за плечами опускаются крылья... То есть всякое крестьянское дело не выпадало у тебя из рук, с молоком матери ты выпитал деревенскую работу, и, казалось бы, она должна была остаться в твоей памяти, в твоих жилах и телесных волотях до смертного часа... Но, увы, детский, не заматеревший с годами опыт скоро забывается, меркнет, теряет плоть, если ты однажды перекочуешь в городские вавилоны. Город крепко высушивает человека до самой сердцевины, выпивает всё прежде нажитое, как бы ревнуя к прошлому, – так летний жаркий воздух вывяливает речного лещишку до хребтинки, выпивает все внутренние соки. Лишь будет постоянно мниться, как в сладком сне, что всё в тебе укупорено на вечное сохранение, как в кладовке; стоит лишь напрячь усилие – и юношеское знание крестьянской жизни тут же обретёт реальность, и твои руки легко почуют прежнее занятие, но это лишь кажется тебе, лишь чудится, и ты станешь неволью тыкаться лбом, как слепой, заблудившийся в трёх соснах... Значит, мир деревенский и мир городской если и сопрягаются, то по касательной, это как бы параллельные струи воды в речном бучиле: одна жизнь в природе на матери – сырой земле, другая – в зазеркалье города.

Нет смысла, наверное, рассказывать, как дважды ездили с Серезком в Туму за поросятами, но не могли угодить на распродажу, и только на третий раз, уже в середине июня, затея благополучно разрешилась, но приобретённая скотинка оказалась ретивая и капризная и никак не хотела сидеть в плетухе, всё порывалась на волю, визжала неистово в машине, как будто её тянут под нож, раздерижала холстинку и распутывала вязки самым неисповедимым образом, норовила сесть мне на шею и откусить ухо. Короче, мы замучились с соседом, пока довезли наших "свинтусов" до деревни.

... Ну, хорошо, охотку стешили, задуманное исполнили, а что дальше? Сунули животинку за печь, сбив на скорую руку загородку из тёса; поросёнок через каждый час неистово вопит, как будто его режут, скачет через доски, что твой Бру-

мель, но каждый раз застревает задними ногами и повисает вниз головою. Середка ночи, когда навещают тебя сладкие пльвучие сны, вдруг раздаётся в избе визг и лай; суматошно вскидываешься в постели, смутно соображая, где находишься, спотыкаясь и пошатываясь, бредёшь на кухню, где сумасбродный Яшка вопит, застрявши башкою в яслях; увидя тебя, он тут же затихает, смородиновые глазёнки, упершиеся в твой голый живот, полны презрения и ненависти. Ну, никакого тебе дружелюбия и почтения.

Через сутки поняли: нужен хлев, срочно необходим, ну хотя бы крохотный закуток во дворе, куда бы можно поставить поросёнка-кнуренка по кличке Яшка. В поленницах с дровами оказалась внушительная прореха, образовавшаяся за обжорную зиму. Дыры заткнули сеном, обтянули плёнкой, накидали на землю пол из созревших банных плах, огородили берёзовыми пряслами – образовался выгон, гульбище. Не идти же на деревню, чтобы высмотреть, как держат скотину крестьяне: неприлично, да и засмеют за спиною, дескать, у писателя руки не к тому месту приставлены; у них свой, выстоявшийся за века порядок, перенятый ещё от предков: есть у каждого мужика подворье, хлев, сарайки и сараюшки, сенички и лабазы, покосившиеся стайки из тонкомера – в общем, вдоволь всякого приюта для скотины. Внешне и невзрачны вроде бы богаделенки, сляпанные наспех с топора, обложенные завалинками из хвойной подстилки, вроде бы и посмотреть-то не на что, и цены за ними никакой, но свинышке-телушке постоять до забоя самое место. На четвертной прибыли – затрат рубль... Вот и мы исхитрились приткнуть нашу живность в дрова, ещё не предполагая, что наш хозяйский маневр выйдет нам боком.

Второе, над чем мы плохо подумали, как свинье брюхо набить при наших निकудышных возможностях. Не нами сказано: “Чтобы свинью держать, надо хлеба амбар”. Пока мала животинка, можно и похлебки мучной пожиже навести, и крапивки туда накрошить, листов свекольника, картофельных очисток, хлебных корок, что непременно хухнут и плесневеют в любом житье, а тем более, что хлеб возить в деревню стали самый निकудышный: из кукурузы со жмыхом и всяких высевок; свежий не разжуешь, к деснам липнет, а на следующий день уже не укусишь, нужны железные зубья и топор. Такая краюха только в пойло скотине и годна, тем более что без печёного хлеба ни один крестьянский двор не стоит. Помню, как городская образованщина тысячами своих затхлых глоток вопила через газеты, дескать, позор на весь мир, на деревне скотину хлебом кормят, это же, дескать, прямой убыток государству. Словно бы бесплатно крестьянам хлеб “дают”, только мешок пошире распахивай да потуже ему горло затягивай. Как же, дадут тебе... Догонят шаромыжники да ещё поддадут пониже поясицы...

А ведь как деревенская жизнь устроена? Пошёл к лошади – дай ей краюху с солью, надо овчишек заманить в хлев – держи корку в кармане; отправился корову доить, намешай хлебушка в парево да ещё и с ладони подсунь ей ржаной отломок, и будешь одарен добрым надоем, ибо молоко у коровы на языке: корова особенно любит доброе слово и сытный кусок ржанины; птице тоже накроши крох вместе с зернецом; ну а свинью тем более не обойдёшь, её, супоросую, “таким” не выкормишь. В старину даже пекли специальный скотиний хлеб из высевок, отрубей, примешавши туда немного и хорошей мучицы. Почему я так подробно пространяюсь о корме? Ибо на этом мы поначалу крепко ожглись. Деньги, что дал Проханов, скоро извелись, обошли мимо сосунца Яшки, пригодились нам на хлеб и сахар. А поросёнок окреп на ногах, стал кружить возле дома, что твоя гончая, и громко лаять. Вот так, неожиданно выскочит мерзавец из-за угла избы, кинется тебе в ноги, да так и норовит сронить наземь. Эх, только и грянешь на лопатки, задеря в небо пяты, а уж наш Яшка умчал на новый круг! Ему бы только овец пасти или участвовать на олимпиадах в спринте...

2. ЛЕТО

1

Теперь мне чудилось, что лишь я да Юрий Сбитнев с Майей Ганиной, съехавшие из столицы “на отрубь”, и живём по русским заветам, а остальные ударились в словопрения и зубоскальство, стараясь друг друга покрепче укусить за поджилки, потянуть за жилетку или облаять...

Братцы мои, если завелась скотинешка во дворе, – это уже настоящая жизнь, а не выживание. Русский человек и в самые лихолетья жил, а не выживал; и когда

в крепостных был, тянул барщину или оброк, и когда под коммунистами запрягли его в колхозный хомут – он всегда, сердешный, как-то так умел извернуться, что взгляд от пашенки вздымал в небо, где его постоянно пас Спаситель. А чужа Христа за правым плечом, человек не может быть покорливым, бессловесным рабом, как бы ни старались мучители поставить его в скотинью стайку рядом с быком и волком. Даже в крепостную пору был у русского мужика свой дом, своя земля, семья и корова с лошадей. (Это особое положение русского крестьянина по сравнению с унылым, забитым французом отмечал ещё Александр Сергеевич Пушкин.)

Москву вроде бы к моей свинке никаким боком не прислонишь, размеры не те, но, судя по дневниковым заметкам той поры, я умудрился через своего Яшку посмотреть на столичное рыло, что ненароком вылезло в калашный ряд. (Так думалось многим в те поры.) Видно, крепко был раскалён.

Что только не примстится одинокому человеку в сельской глуши. В поленищах истощно заверещал поросенок – есть просит; выложь и подай, да чтоб немедленно, без промешки, дескать, иначе помру. Повадками напоминает Полторанина, когда тот пророчит фашизм и путч, такой он прорицатель с ржавым лицом молотобойца – сельского кузнеца.

Странное существо – эта свинья: глаза, как черничины, человечьи, напоминает взглядом Черниченко. Тот прежде постоянно себя кулаком бил в грудь (наверное, до сей поры синяки остались), дескать, какой он русский до самых потрохов. Нынче просит автомат, чтобы стрелять в односельчан. Значит, та порошинка русскости, что тлела от кубанской родовой, как-то блазнила прежде, перетягивала к себе (потому и печатался прежде в самом “черносотенном” журнале “Наш современник”), – нынче погасла совсем. А может, выгодно было тогда слыть русаком, с той стороны видя пирог с припеком.

Потом поросёнок наш подрос, округлился, стал вылитый Гайдар, так же чмокает вкусно, будто постоянно жуёт гамбургер. Но от сквозняков и неуютта наш несчастный поросенок оброс шерстью и степенностью своей, вальяжностью стал напоминать Нагибина. Умаялся несчастный писатель, выпрядывая из конопля верёвку с петелькой. Лучше бы отправился в охотничий магазин и купил капронового шнура, – куда ловчее, приятнее руке вешать на осине ненавистных большевиков, которых давно ли так же неистово славил, получая с барского стола жирного кулеша. Только с кого начинать? Коммунисты все в президентском окружении и в правительстве – от Ельцина до Черномырдина. Если начинать с Черномырдина, то никакая верёвка не выдержит.

Ба... да подросли националисты, те самые русские, что пашут землю и долбят уголь. Они что-то никак не угомонятся, не хотят быть ни американскими чукчами, ни английскими турками. Ах они, русские, со своим примитивным патриотизмом, который есть и у кошек. Перо бы им в бок: не стерпели, укатили сотнями тысяч в Израиль, там русскую партию создают. Да здравствует русский Израиль! Там вся русская литература, русский театр, русский бизнес-шоу, русский шоп и русские девочки на панели. Их там так и кличут: русские... Вообще-то они евреи. Но именно в Израиле вдруг позабыли, что они евреи. Бывает же так. В Америке на Брайтон-бич тоже русские ростовщики и лавочники; в каждом шопе, ларьке и меняльной конторе торчит русское рыло; вот и в правительстве от Гайдара до Авена сплошь толстопятые с рязанской деревни. Эх, клопомором бы их, дустом присыпать этих русских, сидели бы тогда в своей щели за обоями, а не ползали бы по всему белу свету...

Ну а свинья всё верещит, словно нынче собираются её резать. Вот так и демократы визжат да стонут; ещё и облачка нет на горизонте, ещё аер благоухает, а они уже вопят о грозе и грядущих бедах... Свинья, что бы там ни клеветали на неё, удивительно благородное животное: не гадит, где спит и ест, не так, как те, кто называет себя русскими, а Россию презирает. Да и за что любить невежественный тёмный народ, не знающий французской любви, утончённых извратов, Малевича и щуки-фиш? Быдло, гои бессловесные, ветошь истории, подстилка для свиньи, топливо для богатых и пушечное мясо для фарисеев. Их убивай, а они плодятся, сволочи!..

* * *

Итак, за пряслами, набранными из берёзовых жердей, выгуливался настоящий хряк. Он ждал меня не только как кормильца, хозяина и повелителя, но и

собеседника, с кем можно поговорить по душам. Если теперь известно, что даже яблоня и груша любят ласковое обхождение и тёплые слова, то что можно сказать о домашней скотинке, история которой вся вписана в человеческий быт; она входит в семью как полноправный член, о ней думают, о ней беспокоятся никак не меньше, чем о родных детях, её пестуют с любовью, при хворях – выхаживают, недосыпая, при несчастье – плачут и горюют. Если Пестрюшка, Карько или Хавронюшка идут при нужде под нож (а это неизбежно, так заведено от Бога), то хозяйки не могут есть того мяса и долго тоскуют, страдают душою, изводятся сердцем, словно бы умер самый близкий человек, – вроде бы без особой нужды посещая опустевший хлев. Пока-то притерпится. . . У домашней скотинки есть не только свой скотиний бог, которого мы не чувствуем, но и православный небесный покровитель Власий, что пошёл от древнего бога Вола-Велеса. . .

Я заметил, что свинья любит поговорить, в её голове постоянно бродит что-то невысказанное; у неё тёмные человечесьи глаза, как маслины, и она пристально вглядывается в хозяина, словно бы испытывает тебя, проникает взором до самой души. У свиньи много ума и много сердца; она загодя, уже по интонации голоса чует смерть. Если печень и прочие органы свиньи по своему химическому составу так близки к человеческим, что даже возможна их пересадка, так, значит, и сама кровь, в которой растворена душа животного, в которой заключена праистория её, – из одного земного цикла и варилась когда-то в одном космическом чане, в одном замесе. У прочей скотины взгляд смазанный, глаза с поволокою, несколько фасеточные; у свиньи же (пожалуй, и у собаки) – проверяющий, напряжённый, пронизывающий, умный. Вот будто оделся бродячий человек в толстую щетинистую шкуренку и сейчас, не в силах выломиться из неё, молит вызволить несчастного наружу. . .

Пожалуй, я отвлекся, ибо речь-то шла о том, чем и как прокормить нашего Яшку. Это гайдаровская команда жестоких, безжалостных пираний ловко “распилила” народные денежки, получив безвозвратные кредиты, и теперь разъезжала по белу свету, набираясь либерального опыта, как ловчее дурачить и обирать бессловесный русский народ, по пути подбирая “оффшоры” и банки, куда бы можно упаковать наворованное, присматривала лазурные берега, жаркие острова и цивилизованные европейские побережья с субтропическим морским озоном, где бы можно надёжно окопаться в грядущем. . . Яшка же не понимал государственного нестроения и шулерских, ростовщических игр, интриг, подкупа, обмана, лести. Ему постоянно хотелось есть, и оттого он пронзительно верещал, своими глазами-маслинами прожигая моё сердце.

Хорошо, в лето девяносто третьего удались грибы. Бог оказался милостив, не дал помереть крестьянину, продлил его быванье на земле. Правда, по старинным приметам урожай грибов и рябины – к войне. Войны вроде бы и ожидали с какой-то стороны, но войны странной, особой, от которой бы никому не стало тесно и несчастий. Как бы ладно, думалось, если бы явился из небесных палестин Георгий Победоносец и поразил дьявольскую гидру своим копьём. Вставить за правду никому не хотелось. Да и кому на деревне воевать-то? Кто при силе, кто помоложе, давно осели по городам, а на земле остались старушишки, собирающие смертное, да колченогие и увечные, изработавшиеся в колхозе.

Пожалуй, мы бы и не придумали откармливать скотину “лешевой” едою, как-то в ум не приходило. Но приехал из Ленинграда с семьёю мой друг Владислав Смирнов, знавший решительно обо всём на свете, посмотрел оценивающе на поросенка и сказал весомо: “Грибы для свиньи – лучшая еда. В грибах все микроэлементы, свинья будет расти, как на дрожжах. Считай, что мясо выйдет бесплатное”.

За совет мы ухватились, как за спасительный якорь, благо грибы рядом, на опушке, хоть косою коси. Ступить некуда, такое изобилие. Горожанина бы сюда – рехнулся бы. Маслята, сыроежки, свинушки и козлятки, подберёзовики и валуи за настоящий гриб не шли, – даже лень за ними нагибаться, если бы не поросёнок Яшка. Так себе, сор лесной, поганка. Все за белыми кинулись, а стояли они по лесам воинскими рядами всякого калибра от боровиков до ковыльных, о край поля на замечках и на березовых опушках, в ельниках и на сербристых мхах, и в тенистых кустах, и в ковылях, и о край болотцев – крепенькие, длинноногие, сахарной белизны на срезе, без единого червочка, с ореховой упругой головенкой; а боровики, те издали видны, выперли из белых курчавых мхов их пурпуровые и бурые упругие головенки, ну как тут проскочишь

мимо, — и все нетерпеливо дожидаются своей участи, ну прямо в голос вопят, возвещая о себе, чтобы не прошёл человек мимо. В каждой избе весь день топились печи, запах белого гриба, выпархивая из окон, тек по улице, создавая праздничное весёлое настроение. И даже лютое безденежье переносилось народом уже не так остро, и будущее виделось не так безнадежно, как ещё месяц назад. Соберётся народ под ветлою у Зины, так только и разговоров, сколько гриба притащили из боров, да куда лучше бежать завтра по росе утречком пораньше; дескать, такого урожая давно не видали. И столько задора в голосе, какой-то ревности друг перед дружкой, и каждый норовит, будто и похваляясь, утаить свое коренное место, а чужое, насторожив ухо, — невольно прикинуть к себе. Вот и не бахвалься, христовенький, не теряй головы от самодовольства, не чванься преизлиха — тогда и не позарятся на твои богатые палестины. Прежде бывали годы, когда собирали на продажу только шляпки белого, других на грибоварне и не принимали... Но тогда и яблоки были слаже, и самогонка ядрёнее, и хлеб душистей, и сало запашистей.

...А свинья — не человек, всё подберёт за милую душу. Чав-чав — и жевать не надо, — сам укатится в брюшишко рыхлый подберёзовик, уже съехавший шляпою на одну сторону. И вот всей ордой мы поскочили в сосенники-березняки, подбирали всё, что взошло; самые большие шляпы, что набекрень уже свалились, такие лопухи с суповую тарелку, густо населённые червочками, шли особенно по высокой цене, ибо — весомо, зримо, нажористо. Предположили так: из белых грибов нарастёт сало, из красноголовиков — ветчина. Теперь смешно вспомнить, а тогда-то верилось... Варили свиньюшке два ведерных чугуна в день. Ел Яшка с завидным аппетитом, но за два месяца отчего-то не вытянулся, не огрузнул на копытцах, загривок не налился жирком, но обметался наш поросёнок густой тёмной шерстью и стал походить на лесового кабанчика.

Однажды, любопытствуя, навестила соседка Зина, глянула в ведерный чугунок с отварными грибами, потом на поросенка, неопределённо покачала головою, жалая скотинку, а может, и нас, нищую интеллигенцию, и вдруг протянула с легкой завистью: “Надо же... растёт... И какой же хорошенький, шерстнатый. А мой-то, дьяволина, ничего не жрёт”.

Глазки у старухи скорбно потухли, слиняла яркая голубень, словно натянуло слезою. Тут странное тщеславие невольно всколыхнулось во мне, и я засиял, дурень московский.

Напросился к соседке её подсвинка посмотреть, ожидая увидеть жуткое зрелище. Открывает бабка сараюшку: на толстой подстилке из соломы, умильно похрюкивая, стоит в тепле и благодати розовый боровок (моему братец) с масляными, затынутыми жирком глазками, пуда на три уже, на загривке пласт сальца просвечивает, и уши лопухами, как у слона. Взглянул я на подсвинка, и сердце моё невольно упало.

“И чего на него глядеть? — пристанывает старуха. — Тьфу, пустота. Такой зараза, ну, ничего не ест...”

“А чем ты кормишь? — упавшим голосом спросил я, невольно сравнивая хрюка с моим Яшкой. — Перед моим-то раза в два больше. Уж под нож можно...”

“Да какое там... Ничего ведь не ест... Плохой совсем на еду. Два куля рожков скормила да литра три молока в день уливаю...”

“Ну да, ну да... А мы вот грибами...”

“А кто грибами-то кормит? Таким, Владимир, мяса не наростишь. Что в свинью положишь, то с неё и возьмёшь”.

Вскоре друг наш с детьми вернулся в Ленинград, пошли сиротские дожди. Грибы отодвинулись в леса, таскать корзины стало тяжело, да и вера “в лешеву еду” как-то сама поиссякла; но Зинин боровок так и не шёл из ума.

Ужались, поехали с женой на станцию, купили мешок комбикорма. Тут подул ветер-сиверик, нашего подсвинка продуло меж полениц, и Яшка окосоротел. Уныло, с укоризною смотрел он на нас из-за прясел припотухшими глазками. Ну, думаем, не жилец, пропадёт мужичок и вместе с собою унесёт ушат сала и супчик гороховый из хрящиков, и студенок, и ветчинку, и консерву. Стали у соседки покупать молоко и подливать в болтушку. Эх, не нами сказано: в сусеках что залежалось, заводи свинью. Все подберёт: и хорошее, и плохое... А если в наших сусеках одна мякина и пыль?

Березняки пожелтели, незаметно изредились, на колхозных полях принялись за картошку.

3. ОСЕНЬ

1

Земля слухами полнится. От кого-то краем уха услышали мы, что на колхозном поле после комбайна остаётся бесхозная мелочь. Пришлось переломить себя, что-то сдвинуть в душе, чтобы не показалось зазорным тащиться за милостыней. А вдруг погонят? “Ату его, ату!” А вдруг украдкой придётся набивать тару казённой картошкой, внезапно настигнут сторожа, составят акт, оштрафуют, ославят, начнут донимать расспросами; а как мерзко, униженно чувствует себя скромный простец, когда пронизывают его строгим, подозрительным взглядом, смотрят сверху вниз, как на последнего человека, ведут допрос с пристрастием. А ведь особенно сладко снимать улики с человека необычного, из другого сословия: ещё называется писатель, ха-ха, а на чужую картошку польстился, своей не мог вырастить, и вообще, какой он писатель, если книги не кормят его... Эти душевные переживания особенно обострены поздним вечером, когда осенняя темнота клубится над крышею, когда ветер-сиверик, предвещая близкие заморозки, ершит жёсткие листья, загибает белесую траву-отаву, будто хваченную инеем, и это шуршание заползает невидимыми щелями в избу и наводит в человеке тревогу. Конечно, всё может случиться не так, совершенно по-простому, как водится на земле: крестьяне войдут в твоё положение и с добрым сердцем потянутся навстречу. Но в стране такое творится, так зачужел человек человеку, такой древесной корою покрывается его сердце, что только худого и ждёшь от мира, в котором поразительно скоро все окаменели.

Но свинья с такой укоризною встречает по утрам, просунув рыло меж прясел, такой печалью наполнены её смородиновые глаза под сивыми ресничками, такой голодный вопль застрял в глотке, готовый вырваться наружу, что мы не выдержали, подавили страхи и подались под вечер на колхозное поле. Издали увидели, как ползут, переваливая землю, комбайны, а в бороздах за ними остаётся россыпь мелочевки, что не попадает в бункер и через решета вываливается обратно на поле... Это “не стандарт”, обреченная картошка-маломерка, которую скоро хватит мороз, и она так и струхнет, уйдёт под снег... Несортовой картошке, как и несортовым людям, нечего нынче делать на белом свете, только бессмысленно небо коптить... Но для истинного хозяина каждая картошина — это дар Божий, хлеб насущный, из-за которого мы убиваемся, пластаемся, наживаем горбину; она годна на крахмал, на еду, на выгонку спирта, на корм скотине, — внешне невзрачная, тускло белеющая в отвалах земли. Но в государстве разор, правят неспустиха и неткеиха, дилетантам-пришлецам, что коварно и нахально втиснулись во власть, чем хуже — тем лучше, им до крестьянина, до его забот и дела нет... Да и в крестьянском труде они мало чего смыслят.

... Там-сям бродили за комбайном старушонки с коробами, кому свою гряду уже невмочь держать, выбирали картошку, какая получше, да много ли на себе унесёшь? А у нас машина, у нас шестьдесят лошадиных сил, мы в выгодном положении. Не успели толком пооглядеться и затарить первый мешок, как подошел тракторист со шрамом во всё лицо, весело посмотрел, как я роюсь в земле, делая покинутому урожаю новую пересортицу, выбираю, что получше.

“Шеф, — набивается парень, — чего ты зря ковыряешься? Купи у меня три мешка отборной за три бутылки”.

“Откуда три бутылки? Сам бы выпил, — отвечаю я. — Были бы деньги, не бродил бы по полю”.

“Да брось сочинять... У тебя да и денег нет. Мы тебя знаем, ты писатель”.

Я стеснительно улыбаюсь: оказывается, я известен даже во глубине российских полей. Вроде бы сладкой патоки улили мне в грудь, так стало хорошо и в то же время неловко, и стыдно, словно бы меня уличили в дурном, а я стараюсь отвертеться.

“А вот и нету, — отвечаю прегрубо, отыскивая нужный тон, чтобы быть своим в доску. И вдруг осенило: живу пятнадцать лет в этих местах, невольно кто-то должен бы и знать меня. И слава мирская здесь не при чём. Тоже, раскатал губу. — Сам бы хряпнул, опрокинул на лоб”.

Сказал и нагнулся над бороздой, собирая в ведро картошку.

“Отборная, три мешка, — настаивает парень, дундит мне в загривок, наверное, думает, что я торгуюсь... — С июня зарплаты не было. Хотят нас удавить, сволочи! — вдруг закричал, и шрам налился кровью. — Россию разорить, а нас

уморить! Воруют, сволочи, там, наверху, миллионами гребут в карман наши денежки. А мы что, рыжие? Нам сам Бог велел”, – тракторист будто оправдывается перед судьёю; видно, что стыдно продавать колхозное добро в открытую, глаза прячет. Но так хочется выпить, нажечь кишки, утишить нутро; а где взять винца, когда зарплату не выдают с весны...

Вскоре подошел агроном, но уже по казенной надобности. Погнать не погнав прочь, но, смущаясь, предупредил, что до четырёх часов мелочёвку подбирать нельзя, женщины на сортировке переживают, им тоже хочется для скота поднабрать. Картошка неплохая уродилась, по погоде, но куда её девать? От государства заказов нет, надо искать мелкооптовика, а тот предпочитает “сникерсом” торговать: волокиты меньше, да и прибыль весомей. На картошке не разбогатеешь. Пришла пора, что ни колхоз не нужен, ни картошка тем, кто наверху, и, похоже, весь русский народ для управителей лишний. У них только и разговору, что вливания в деревню прекратить, де, без пользы они, де, Европа нас прокормит, а самим ничего не надо производить...

Поплакался агроном и пошёл на сортировку утешать бабок. Ну а мы затарили с десятком мешков и попылили в свою деревню. А ночью ударил мороз...

Ловко выхватили мы Божий гостинец в последний день. И как-то незаметно, буквально на неделях, наш Яшка выгулялся, щетинка посветлела, зазолотилась, и в глазах появилась сытая поволока. Ест и причмокивает, и к грусти моей неожиданно стал напоминать наглого кремлёвского толстяка, что разорил русскую копилку, куда народ собирал по грошику, и все народные денежки по команде серого Пастуха рассовал по карманам приспешников. Тот кремлёвский чмокающий толстячок, что опустошил мой карман среди бела дня, и боровок Яшка, наш спаситель, в каком-то удивительном согласии наливались жирком. Принося хряку очередное ведро с варевом и наблюдая, как возит он пяточком в пойле, наискивая, что повкуснее, и порою насмешливо поглядывая на нас, мы так рассуждали, что картошка непременно пойдёт в сало, а зернишко – в мясо.

* * *

ИЗ ДНЕВНИКА. 93-й год. “Телевидение – монстр, левиафан. Сейчас десятки миллионов русских задыхаются под этой тучной, водянистой тушей от невозможности высказать, явить истинное чувство. Нет ничего страшнее тиражированной лжи; она – густой туман, окутавший каждого, не могущего спрятаться даже в за-тайённой лесной избе-зимовьюшке. Душа вопит в безмолвии и задыхается, готовая лопнуть...”

* * *

“Из откровений Попцова мы узнали, что “Ельцин – стыдливый человек”. Его, Попцова, спросили, отчего у вас скрипят сапоги? Он ответил: “Сапоги скрипят, половицы скрипят... от возложенных на нас тяжестей”. Его спросили: “Вы расстались с комсомолом?” – “Я был там белой вороной”. (Бывший секретарь обкома. Двадцать лет редактировал комсомольский журнал.)

Фарисей в каждом слове”.

* * *

“Устроили сучью жизнь, а ещё хотят, чтобы их любили. Унизили мозг нации, её цвет и дух, но возвеличили карманника, бродягу и мошенника, любимых героев Максима Горького, а самого писателя спихнули с пьедестала, чтобы казаться вровень. Новые челкаши козыряют в тройках и цилиндрах, бесстыдно усевшись на нашу шею”.

* * *

“Старовойтова с Козыревым выводят Ельцина на смотрины, как хазарского

кагана. Поп-расстрига Глеб Якунин машет сзади латынским крыжом – то ли насы-
ляет бесов, то ли гонит Ельцина перед собою, как неверного. У “бабушки русской
демократии” на лице глуповатая жирная улыбка перезревшей институтки, испы-
тавшей первый грех.

Все запряжены в одни оглобли и покорно идут”.

* * *

“Горби вылинял, как побитый молью песец-крестоватик...”

* * *

“Ельцин со словами любви к России намаывает верёвку и затягивает её на
шее народа со своей целлулоидной улыбкой идиота. Как я и предсказывал год то-
му, очередной переворот будет в 93-м году. Он и случился. Это переворот наглых
и циничных, пошлых интернационалистов-космополитов, презирающих Бога...”

* * *

“На экране скопческое, с проваленным тонким ртом лицо поэтессы Риммы
Казаковой. Желая унижить, читает скверные стихи о генерале с фашистскими уси-
ками (о Макашове), что, не жалея жизни своей, пошёл на защиту чести русского
народа. А сама и в подметки ему не годится”.

* * *

“Оскоцкий, похожий на недотыкомку, пригорбленный, с огромной головой
карлы и короткими ручками, сложенными на столе, пытается играть роль услуж-
ливого палача, подталкивает Ельцина к жестокости и немедленной расправе. Как
все они жаждут крови, вопия при этом о слезе ребенка.

Мелкий народишко сгрудился в подворотне Ельцина и лает усердно на Рос-
сию, чувствуя силу барской руки. Жалкие тварные люди...”

* * *

Вот и октябрь на дворе. Скоро Покров. Прежде девки пололи снежок и при-
певали: “Батюшка Покров, покрой землю снежком, а меня женишком”. Обычно в
предзимье всё в природе цепенеет: закаты багровы, лужи латунны, дальние леса
лиловы, небо к ночи искристо, звезды наливные, плутовато подмигивают, и Боль-
шая Медведица, как дворная собачонка, дежурит в небе над коньком моей кры-
ши. К этому времени березняки тускло выжелтятся, поблекнут, как старые ризы,
изредятся, обветшают – дырка на дырке. Вот со дня на день полыхнет ветер-ли-
стобой, разденет берёзы донага, сдерёт с них последнюю ветхую сорочку, – и
здравствуй, обжорная русская зима!

... А нынче на удивление долго тепло стоит, и пока не пахнет снегами, леса в
золоте, у крыльца уж который день вьётся бабочка-траурница, похожая на цыган-
ку-вещуню, колдовски подглядывает за мною чёрными глазами, тонкой кистью
написанными на шелке крыльев. Кыш, вещунья, уноси с собою дурные вести!

Картошка давно прибрана, спущена в подполье, над поспевшими расхрис-
танними капустными кочанами резвятся стайки белых капустниц, без усталости
плодящих червие. Вот и крапивница залетела в баню, плещется крылами на задым-
ленном стекле, наводит шуму и беспокойства дремотному суровому хозяину-бан-
нушке. Прежде Покров – большой престольный праздник, неделю гульба; столон-
то гостевым хвалились, зазывали в дом друг по дружке, де, пьян не пьян, да в
гости к нам. Нынче тишина на деревне, и ничто не сулит гульбы: ни ты в гости, ни
к тебе за стол – боятся христовенькие объесть, да и нечем угостить.

Как помнится, даже после войны подобного не знали. Бабушка моя месяц-

два копит провиант, нам рукодано выдаст к чаю по кусочку хлеба да по осколышу сахара, отколет щипчиками от голубой глызы, но сама-то с липкой манпасейкой выпьет чаю чашек шесть, а половину подушечки оставит в блюде до следующего самовара. Была бабушка мастерицей шить и вышивать узоры на подзорах и занавесках, и так вот, одноглазая, всю ночь корпееет над шитьём и вязаньем, а после, уложив стряпню на чуночки, потащит то рукоделье по деревням, чтобы там обменять на продукт. Да всё скопленное с такой натугою после выставит на гостевой стол, чтобы печенье стояло горою. И лагун браги непременно наварит.

А нынче вот без войны, да в общей разрухе живём; в гости зайти стыдятся. А если и забредет кто, усадишь за стол, а рука за конфеткой робко тянется: как бы в раззор не ввести. А ведь застолье – вековечный поклон богу Радигостю, это похвalebная черта русская, что разительно отличает нас от многих племен. Немцы нас расточительными звали за эти вот пиры; они, скопидомы и стяжатели, не знали того сердечного обычая, что всякий в Божий мир отплывает голым, ничего Христу от тебя ненадобе, кроме твоей души. И вот в таких-то застольях очищалась, огранивалась, хранилась радетельная, отзывчивая русская натура. Так неужели забудутся Пирогощи – пир гостей, и Радигости – радость гостей? Ведь усталость от стола, от праведных трудов скоро сольётся и потухнет, но радость от долгой трапезы будет жить долго на сердце. Тихо, безлюдно в деревне, словно бы весь народ утек в могилки. Странная, неопределенная пора, когда всё позади, окончательно изжито, а впереди уже ничего не светит. Не смеются на деревне дети, не играют свадьбы, не ярится гармоника, только лишь сосед Сережок Фонин, хватив первача, пытается под ветлюю растянуть меха и тут же клюет носом; словно бы осень навсегда попригасила всё радостное, чем питалась из века в век русская душа, с любовью и гордостью глядя на полные закрома, на дровяники, забитые березняком, на подворье и хлевища, где жирует скотина, дескать, хоть и обжорная зима, но и нынче не застанет врасплох. Бывало, закончив тяжкие труды на земле и обойдя приценчиво подворье, удовлетворенно приговаривал мужик, если у него всё сладилось по уму: “Бог-то он Бог, да и сам не будь плох”. И вот поиссяк народ на земле, повыводился, рожать перестал, да и некому. Лишь “не-роботь”, что из возраста вышла и осталась при пашне, которую вдруг наскоро поделили меж крестьян на паи, но так странно раскроили на бумаге, что никто землицы дареной пока и в глаза не видывал. Вот и гадай, мужик: какая земля достанется при дележке, да и будет ли она вообще, эта делёжка, иль придется снова за вилы хвататься, чтобы показать русский нор и силою высудить свой кусок? Это для горожанина земля – нечто пространное и неопределенное, неохватное взгляду, даже слишком громадное чудище, “обло и стозевно”, чтобы им с расчётом управить, может, даже лишку отхватили предки, а сейчас майся, чтобы довести до ума. Так полагает мещанин, в ком давно потух зов матери земли.

На самом же деле она разнообразна – русская земля: и унывна, щедра на дары и прижимиста – кому какая достанется в наделок... Есть супеси и глина, суходола и осотные низины, хвощи, болотина, жирные земли, кремень, подзолы, поречные бережины, где трава коню по холку, и пески на веретьях, где ничего, кроме вереска, не растёт, и редкая былка не накормит даже и овчужки... Но по пять гектаров на нос пришлось (это на бумаге), и та бумага запрятана в комод иль шифоньер под смертное, и одна мысль, что наконец-то и тебе досталось изрядно землицы (Господи, на веку такого не случалось), уже греет сердце старухи, что всю жизнь свою ухлопала на колхозном поле, страдая за отечество... Если и были на Руси воистину государственные люди по делу и чувству, то это русские крестьяне. Ещё не предполагая, что их в очередной раз обвели вокруг пальца, они неожиданно для себя почувствовали себя с новой, неизвестной прежде стороны: это они – хозяйева земли русской...

Старики пересуживают на лавочке последние новости из Москвы, ждуть обещанной прибавки к пенсии, только о ней и разговор. Много и не просят, хоть бы с десяточку накинули. Костерят Ельцина последними словами, но принимают его сторону; вспоминают прежние золотые деньки, когда хлеба было вволю, но ругают Зюганова, боятся от коммунистов новой “подлянки”, если те, как случилось в семнадцатом, перехватят власть. Деревня на перепутье: столетьями ходила под хомутом, а тут вдруг пустили на вольный выпас, гуляй – не хочу, никто на работы не гонит, никто не дозорит за плечом – ну прямо рай на земле; но только тот выгон отчего-то оказался на суходоле, где ничего, кроме репья да осота, не растёт. Кремлевские пастухи регочут, не снимая с лица подлейшей ухмылки; де, кормитесь, скобари, как хотите; вы хотели свободы – так получите её, распорядитесь

по своему уму и выбору, а мы умываем руки... А по телевизору ненастье сулят. Москва кипит страстями, откуда только и взялось в ней норову, хотя казалось уже, что всё давно перехвачено ростовщиком. Новые герои вспухают, как пузыри на дрожжевом тесте, они — властители чувств, Минины и Пожарские, витии, бросающие в толпу пламенные призывы и клятвы; но дела нет, и вожди скоро упадают в безвестность, как не выбродившее в квашне тесто; из окна деревенской избы столичный мир кажется сказочным, придуманным словно бы специально для потехи простеца-человека, для его забавы разоставили шутовскую сцену с картонными лицедеями. Живя в деревне, я невольно покрываюсь шкурой крестьянина и принимаю его направление житейского ума. С одной стороны, вера в святого Георгия на коне вот явится с небес и разом наведет на Руси порядок; с другой стороны — напрасно народ ерестится, сбивается в толпы и вопит об утраченной правде и нажитке; ничего уже не сломать и не вернуть, всё в Москве решат без нас. “Украл, не поймали — Бог подал. Украл, поймали — судьба подвела”. А раз никого не словили, не посадили за воровство в тюрьму, значит, Бог за них. Для столицы крестьянин нужен лишь в ярме, в тугом хомуте и стальных удилах. Худо верится в истинность намерений и чистоту чувств, много лицедеев, ловцов счастья, похвальбы, игры на публику, незрелости мыслей; каждый правит в свою сторону, верит только своему слову, высказанному впопыхах, и старается сани родного отечества отчего-то повернуть к оврагу, чтобы там, в сыри и хляби, обломать окончательно оглобли и загинуть...

Боже мой, глядя на эти картинки, душа невольно идёт вразнос: то стонет и плачет, то, увидя родное знакомое лицо, вдруг обретает уверенность, что все непременно вернется в прежнее русло, и жизнь примет верный православный лад, когда воистину все на Руси станут друг другу крестовыми братьями. То вдруг с экрана донесется призыв, лишающий сна: “Если дурные люди сбиваются в стаю, то и добрые люди должны объединяться” — и сразу почудится, что этот толстовский глас наконец-то найдёт подтверждение. И невольно подумаешь с недоумением: если добрых людей на свете больше, как нас уверяет церковь, то почему они не сбиваются в дружины, а рассыпаны по машинам и радам, по-за далями и хребтами, и никак не докричатся до них? Какое-то, знать, коварство задумано Господом, чтобы нас окончательно сбить с ума иль наставить во спасение души. Иль вот бродит по Москве генерал Руцкой с двумя чемоданами компромата на новоиспечённых и самозванных господ, и никто в Кремле не бросается искоренять скверну, но устраивают вокруг лишь глум и насмешку. Значит, иль в чемодане туфта, иль во власти все вор на воре. И приходит на ум, что эти красивые, верные в сущности слова о чести и достоинстве, — лишь раскрашенная маска, которою прикрываются в разгуле дьявольского карнавала, чтобы никто не узнал истинного лица: такое уж настало время, когда люди дурных наклонностей о себе имеют мнение, как о правдолюбцах и доброносцах, ибо у них своя, кагальная шкала ценностей, скрытая от прочих своя правда и доброделание только для своих...

2

Пришла Зина со свертком под мышкой. Остренький носик, вострые васильковые глазенки с неискоренимой безунывностью во взгляде, на голове — шерстяной плат кулем, на узких плечах — розовая куртка кулем, ножонки рогатиной, воткнутые в красные сапожонки. Всё худенькое тельце выглядит редькой хвостом вверх.

Говорит: “Мужик в Гаврино потерялся. Пошёл за пайком в Туму и потерялся. Яврей, но ничего дурного про него не скажу. Заблудился и никто не ищет. Впервые у нас так, что человек потерялся, а его не ищут. За бутылку водки кабыть и убили. Нынче человек, что муха...”

Я только что включил телевизор, по экрану помчались попцовские мерини, выгибая шеи, безумно выворачивая луковицы глаз. Зина посмотрела из-за моего плеча на скачущую тройку и сказала весома:

“Взялись пустые люди страной управлять, а сами лошадей запрячь не умеют. Далеко ли на таких конех поскокнут без дуги, оглобель и хомута — людям на посмех”.

“А мне сдаётся, что с умыслом картинка. Дескать, не запряжена пока Россия, но скоро сунут в пасть удила и поставят в стойло под ярмо”.

“Безрадостная жизнь. Одни охи да вздохи. Пехаем дни-то скорее от себя, а они ведь не ворачиваются назад. Прожил — и всё. Будто другую жизнь ждём, —

говорит соседка, разворачивая свёрток. – А тут человек заблудился – и не спохватились. Прежде бы самолёт вызвали. Народ побежал бы искать. Вот было, ребёнок четырёх лет в Уречном заблудился. Бабушка в лес ушла, он проснулся – нету бабушки. Открыл окно и пошёл. Шёл, шёл и заблудился. Так его всема искали. Военные прилетели на вертолёт, искали. А ты говоришь, плохо жили. А ребёнок шёл-шёл и уснул. В норку под кустышек заполз – и уснул. А комара тучи... Июль ведь. Его как нашли, спрашивают: “Комар кусал?” – “Нет, не кусал”. Ведь четыре годочка, малец совсем. Бог пас детскую душку... А ты говоришь”.

Я не возражал, я молчал, тупо смотрел на экран, где разыгрывался шабаш, словно бы все ведьмы и бесы с Лысой горы слетелись за кремлёвские стены. Хари, Боже мой, какие хари и рожи. Гайдар похож на целлулоидную куклу, которой мальчишки-прохвосты оторвали ноги. Какая-то чахоточного вида актриска с хищной фамилией визжит так, будто ей без наркоза прямо на студии демократы делают кесарево сечение. Оскоцкий дрожит так, что за двести вёрст слышно, как стучат его подагрические кости. (Во время путча вот так же трясся Янаев.) И все визжат, шамкают, шипят, умоляют, грозят, требуют: убей их, убей! (это призывают премьеру вести народ на скотобойню). Черномырдин, заменяя собою пьяного президента, репетирует грядущую роль диктатора иль пытается выглядеть диктатором, но у него лицо шахтёра, плохо помытое перед выступлением. Значит, и в Кремле туго с мылом и пемзой. Однажды промелькнул Ельцин со своей кривой ухмылкой и тут же исчез.

По Дому правительства прямой наводкой бьют танки, стреляют мерно, равнодушно, как на учениях по казённым фанерным мишеням. Летит бетонная пыль, брызгают стёкла, выметывается из окон пламя до горних высот, застилая собою всю Москву, клубится чёрный дым, души умерших и убитых взмывают в небеса, где Господь принимает их в рай. Жена плачет, у меня всё опустело в груди, будто вынули сердце, а там сквозняк. Сквозь едкую пелену на глазах вглядываюсь в мерцающий зрак сладострастного левиафана, в стеклянной глубине которого суетятся гогочущие кувшинные рыла; какая-то девица, передавая о русской трагедии в мёртвую уже Америку, обмякла вдруг по-бабьи, оплыла лицом и завопила в эфире перехваченным от ужаса голосом: “Господи!.. Убитых уже пятьсот человек!..”

Что для пещерной страны пятьсот душ? Это ли диковинка? Давно ли вся Америка, сидя у экранов, чавкая сникерсами, ликовала, когда точные ракеты сжигали в Ираке тысячи детей, рукоплескала содомитскому зрелищу, визжала от восторга, гордясь своей великой непобедимой страной. Попустил же Господь – и пещерным людям вместо дубины вдруг достались атом и лазер. Кто-то спасёт заблудших?

Густой липкий туман лжи перетек океан и Европу, окутал русскую землю; от него не спрятаться даже в затаенной лесной избе. И сколько нынче неприкаянных, отравленных, заблудившихся и вовсе сбившихся с пути. Русские, убивая братьев своих, помогают мировому Мамоне хранить и приумножать награбленные сокровища Золотой горы. Мировой меняла и процентщик плотно усаживался на русскую шею.

Соседка притулилась за моей спиной, бормочет:

– Смотрела в телевизю, трясло всю, как в народ-то стреляли... Убивцы. Я за себя-то не страдаю, я за народ страдаю. У меня корова есть, я проживу... Дуся, сшей мне смертное... Знать, пришло время всем на кладбище убираться. – Старушка заплакала. Я оглянулся. Сзади топчется, уже крепко побитая годами; простенькое лицо, давно ли ещё миловидное и светлое, сейчас обстрогалось, собралось в морщиноватую грудку, сивые прядки по-над ушами выбиваются из-под платка. Всхлипнула, слёзы скорые, мелкие тут же просохли, как утренняя роса. – Ельцин, топором тёсанный, огорай и пьяница, натворит делов, загонит народ в пропасть, а сам в ямку кувырк. С кого тада спросить?

Зина поманила мою жену в кухню, но дверь притворила не плотно. Я невольно убрал в телевизоре звук, наострил слух.

– Дуся, перешей мне смертное... Этот штапель-то с пятьдесят второго года лежал, дожидался... Сам принёс с заработков.

– Поди сгнил уже, – сомневается жена.

– Может, и сгнил, – легко соглашается старая. – Закопают, а там-то не работать.

– Говорят, как в гроб положат, в том и перед Господом встанет человек.

– Всё перегниет. Земля своё возьмет. Раньше и в лапоточках в гроб клали, онучки новые. Мать-то мне говорит: “Возьми, Зина, моё шёлковое”. А я ей: “Не надо мне твоего стеклянного барахла. Только в нём и лежать в земле”.

Разговор идёт деловитый, спокойный, и как-то странно сопрягается он с беззвучными взрывами, черной копотью пожара, хмурыми набыченными лицами омовцев, берущих Дом правительства в тугую осаду. Сколько в горящем здании уже погибло людей, кому никогда не понадобится смертного платья, домовинки, жальника, никто не бросит на крышку гроба прощальной горстки родимой земли, вглядываясь с горестным изумлением в ямку, куда навсегда исчезает родной человек с родными чертами лица, привычками, своей историей жизни и преданием рода.

— А чем тебе старое не нравится? — спрашивает жена.

— На том-то свете скажут, это что за попугало идёт? Больно широко. Как шили платье, было впору, а сейчас склячилась, как баба-яга с помелом. Давай сделаем вытачки...

— Сейчас никто никакие вытачки не шьёт. Не модно...

— Тогда ушей по бочкам. Там маненько и там маненько...

— Ничего не широко. Может, поясок?

— С пояском не шьют, — отказывается Зина. — Там не подпоясываются...

А материалчик симпатичный, мне нравится. Куды хошь, летом как хорошо носить, скромный такой и цвет хороший. — Зину берут сомнения. Она вроде и к смерти готовится, но старуха с косою ещё где-то так далеко, что не слышно её дыхания, и потому пока не верится в её неизбежный приход. Зина обминает штапель в ладонях, ей нравится, наверное, как податливо, шелковисто ластится материя, прилипает к потрескавшейся коже, в трещины которой навсегда въелась родная земля. Бабене, несмотря на возраст, хочется покрасоваться перед товарками в обнове, женское ещё не потухло в груди, тербит сердце, позывает к веселью и коротенькой радости. Дуся улавливает колебания соседки:

— Вот и носи, Зина. Ещё сошьешь.

— Ага, выносишь, а потом не купишь.

— Скажи детям, купят ситечку четыре метра по сорок рублей. Всего сто шестьдесят рублей. Не разорятся, поди...

Зина засобиравшись домой. Я приглашаю за стол пить чай, соседка заотказывалась наотрез:

— Нет, какой нынче чай? Ой, Вова, жизнь хренова. Нынче вся жизнь в навоз...

Зина надернула галоши, живо зашаркала через двор. Я вышел следом, сквозь розвесь хмеля с чувством тоски и сердечной надсады провожал взглядом соседку, будто нам никогда не увидиться. Зина остановилась за калиткой, из-под ладони вглядываясь в широкий распах улицы, пронзительно жёлтый от солнца и увядшей травы, сквозь которую пробивались песчаные плешины, и упорно высматривала товарку, с кем можно бы завести беседу. И вдруг как закричит мне: "Володя, ступай-ко сюда! Однако к тебе гости!" Зина, откляча зад, подслеповато вглядывается в верхний конец улицы, куда слепяще западает солнце, окрашивая деревню в розовое и голубое.

Нелепо улыбаясь, я вышел со двора, принимая возглас старухи за шутку.

— Да будет тебе... Откуда гости... С какой сырости. Никто не обещивался.

— А ты глянь, — не отступала соседка... — Это к тебе. Из Белого дома бегут.

Я всмотрелся в сторону леса, откуда выныривала в деревню песчаная дорога. И верно, с той стороны середкой улицы бойко шли чужаки. Люди приблизились, поднялись на взгорок, до них уже рукой достать, а я всё не мог признать их. Шли трое незнакомцев, как бы припорошенные голубым сиянием, головами в самое небо. В середине высокий мужик в плаще с папкой писемоводителя под мышкой, одесную будто катился приземистый круглый человек, третий, в ярко-красном свитере, косолапил, загребая песок, и радостно гоготал, вздымая над головою руки. Многие случалось со мною в жизни, но это событие до сей поры я отношу к самым необыкновенным. Я поспешил навстречу, уже признавая родных людей, но не веря чуду. Господи, ну откуда могли взяться они на краю света... Ведь только что видел я на экране лохматые копны чёрного дыма, танки, чутьисто приноживающиеся к жертвам тупыми рылами, убитых возле баррикады, ужасный вид притихшей обворованной Москвы, и вот друзья, как бы в особой машине времени, преодолев пространства, вдруг выткались в лесном глухом углу.

Нет, это не мары, не кудесы, не привидения. О друзьях думал, глядя в телевизор, и вот они на пороге. Но какова соседка моя, а... Через добрую сотню метров увидела незнакомцев, кои никогда здесь не бывали, и особым народным чутьём и знанием поняла сразу, что несчастные бегут из Москвы — и именно ко мне. То были Александр Проханов, Владимир Бондаренко и Евгений Нефедов. Устав-

шие, не спавшие сутки, какие-то мятые, пыльные, припорошенные несчастьем, но вместе с тем возбуждённые, радые, что дороге конец, опасности позади, никто уже не скрадывает – и друг встречает на пороге. Это ли не радость... Пешком и на попутных, минуя все посты и заставы, ловившие патриотов, по какому-то наитию понимая, что так важно избежать ареста именно в первые дни, когда победители ошалели от крови и сводят счеты, друзья попадали в глухой рязанский угол, приютивший меня. Верили, что пространна русская земля и не даст пропасть. Само приключение, как ожог сердца, не давало им утишиться, словно бы попали сейчас лишь на случайный временный стан, где бы можно перевести дух, с тем чтобы, набравшись сил, снова бежать дальше. С первых минут, не находя себе места, рассеянным взглядом обегая моё деревенское житьё, они возбуждённо вспоминали, как кинулись прочь из столицы на машине Виктора Калугина, как лесами обходили заставы, высчитывая, где их могут схватить, как мчались до Рязани, потом ночевали на вокзале, а с утра уже на попутках попадали до неведомой деревеньки... Мой рыжий гончак вил круги, путался под ногами, облизывал гостей, их возбуждение перенимая на себя. Деревня застыла, словно в ожидании перемени, дул низовой северный ветер, гоня по дороге струйки песка, в избе напротив у полуоткрытого окна сутулился наш друг Сережок и выдувал на волю клубы махорного дыма. Вроде бы никто не спешил по улице, но я знал, что весть о московских гостях уже неисповедимым образом пробежала по домам. Таково свойство русской деревни, где нет и не может быть секретов. Словно бы все ворота и окна жителя нараспах каждую минуту.

... Эх, восславим же дорогих гостей, в эти минуты роковые посетивших писателя в его скрытне. Всё, что есть в печи, на стол мечи. Бутылочка русской водочки возглавила тарелки со снедью, повела в поход. Описывать стол не буду, да он и не застрял в памяти, ибо похвалиться нечем, да и не было особых разносолов. Ведь вареному-печеному не долговек. Без чоканья причастились, помянули погибших, чьи имена будут занесены в синодик новомучеников за русскую веру, за стояние против мамоны-идолища поганого. Водка ожгла, всё пережитое нахлынуло вдруг, беглецам почудилась странной эта деревенская обитель, отодвинутая от схватки в оцепенелый русский угол, ждущий чуда.

... Мужики переживали, крестьянки плакали, но никто не сдвинулся с лавки на подхват погибающим, не протянул руки в помощь, не воззвал к милости и миру. В столице толчея, там роятся честолюбия и всякие страсти, там делят народные сундуки, отпихнув самого хозяина и кормильца, и печищане, туго соображая, что творится в Москве, кому нынче верить (да и стоит ли вообще кому-то верить), сошлись крохотным табунком под ветлу у Зинино дома. Деревня оставалась сама по себе, душою ни тёплой, ни холодной, выжидала неведомо чего, ибо нутром жертвы понимала, что в любом случае не ждать ей милости, немилосердный обух перемен непременно угодит по её темечку. (Впрочем, так и случилось.) Может, впервые в истории это безразличие к народному бунту в престольной особенно болезненно, даже трагически сказалось на будущем крестьянства, лишило всяких благих надежд.

А кого притужать, кому предъявлять вины в долготерпении?.. Бог ты мой, ветхие старушишки и дедки, корявые, изработанные, – вот и всё нынешнее воинство. Ладно, хоть гробишко еще могут сколотить да в землю “упокойника” прибрать.

– Опять та же морда добралась до власти (это о Гайдаре).

– Безрадостная жизнь. Одни охи да вздохи. Пешаем дни-то скорее, а они ведь не ворачиваются. Прожили все. Будто другую жизнь ждём.

– Боремся за кусок хлеба...

– Раньше пели: “Серп и молот – смерть и голод”. А нынче, как свиньи, по-свински живём. Вот и насрал нам Господь в устрашение Ельцина, чтобы опамятавались мы, пришли в ум...

– Думали, уж при коммунизме-то нам не жидать... Оказывается, при Брежневке хватили чуток. Есть что вспомнить.

Рассказываю друзьям, о чём толкует народ.

– Где твой народ! С места не сдвинулся... Да и есть ли он?! – в голосе Проханова обида. Он зол, черен, скуля играют, обугленное лицо вроде бы потрескалось, в тёмных глазах, завешанных сизыми крыльями волос, непросыхающая тоска. Лишь на миг при встрече, когда обнимались на солнечном взгорке, что-то тёплое, нежное проступило в лице, и вновь взгляд угрюм, непрогляден, голос дребезжащий, слова желчны, чувства насадны. Проханов пьёт, и водка не забирает его. Уходит от стола к телевизору и, сжавшись в груд, смотрит на своих спо-

движников, как выводят их из Белого дома в автобус и отвозят в тюрьму. Бледный, со сникшими усами Руцкой, он только что показывал омовцам ящики с оружием, оправдывался, что автоматы в смазке, никто из них не стрелял. А ведь суток не прошло, как стоял новоявленный вождь на балконе дома правительства и, картинно играя голосом, топорща усы и грозно сводя брови, призывал толпы восставших идти на Кремль, брать почту и телеграф. Шел чечен Хасбулатов, насупленный, но спокойный, с презрительно-отстранённым взглядом, навряд ли кого видя сейчас. Все вокруг были для него скопищем червей, роящихся у ног. Всё минувшее казалось наваждением, одним долгим суматошным днём, так нелепо закончившимся, в котором интрига пьесы была вроде бы прописана до “последней запятой”, но сумасшедший самодур Ельцин, пьяно гыкая, неожиданно оборвал “спектакль интеллигентов”...

Да, от сумы и от тюрьмы не зарекайся. Ещё вчера были во власти, ели сдобные булки, а нынче отвозят на тюремные нары. Такое мгновенное падение фаворитов и временщиков, чьи имена были на всеобщем слуху, поначалу кажется придумкою пересмешников. Думается, встряхнись лишь, сбрось оцепенение, и вновь вернёшься прежнее ровное время, и жизнь обретёт надёжные очертания. Но, увы, дважды в одну реку не входят... Но остаются воспоминания о былом, похожие на чудный сон, и чем дальше будут отступать советские дни, тем слаже будут казаться они. Когда Проханов писал в девяносто первом воззвание к народу и увещевал очнуться, ныне опальные Руцкой и Хасбулатов на своём горбу, надсаживаясь и корёжа души людские ложью, втаскивали Ельцина на трон, пели ему хвалебную аллилуйю, кормились с барского стола, преследовали Проханова. Руцкой грозил тюрьмою, Хасбулатов с пеною у рта сталкивал накренившийся воз гигантской страны в пропасть, нищету, раскол и распад.

И вот сейчас из деревенской избы, глядя через телевизор на Москву, Проханов невольно подавлял в себе прошлые обиды, стычки и брань, непрерывные суды и пересуды, злые обещания, бейтаровцев с автоматами, пришедших в газету “День”, чтобы закрыть её. Сейчас он видел на экране не прошлое, а настоящее, чему есть объяснение, но не будет прощения друзей, увозимых в неведомое, генерала Макашова, не изменившего солдатской присяге, настоящего русского воителя, сгорающих в огне сподвижников, патриотов и знакомцев, в короткое время ставших родными, покидающих поверженную крепость по тайным московским катакомбам. Дом грозно пылал, и в этом дыме отлетали души прекрасных русских подвижников, новых русских святых, кому честь была дороже жизни... Столица была отдана на растерзание нечестивым, Кремль готовился праздновать хануку, в пекарнях стряпали опресноки, точились ножи на кошерных животных, Гайдар петлял от государственного банка в дома приближенных и, причмокивая, кидал щедрые милостыньки за чужой счёт; “русские” офицеры, продавшие честь за тридцать сребреников, сейчас пили по-чёрному, заливая сердечную смуту; Попцов с экрана пел Ельцину победные оды, поводя утиным носом в сторону обещанной похлёбки; а сам президент, доверив “медвежатнику” Черномырдину беспощадный отстрел в России, отмокал от попойки, опохмеляясь хлебной водочкой и заедая котлетками супруги Наины Иосифовны... Омовцы, получив за преданность Москву на трое суток, шныряли по столице, стреляли по окнам, пинали по печени случайных прохожих коваными башмаками, пускали юшку, той кровцою безвинных услаждая и умягчая заскорузлую душу. Разогретые вином, они были псами-волкодавами, спущенными на время с поводка, чтобы устроить меццан и привести их в покорство, но не хотели признаваться себе в этом, видя в каждом, кто попадался в их руки, “наглого жида”, педераста или предателя России. Всё смешалось, всё смутилось, и впереди не виделось ничего светлого. Казалось, в чёрном дыме пожара отлетали в небо последние искры надежды на счастливое будущее...

Вдруг по телевизору объявили, что под Москвою в дачном поселке на чердаке нашли смутьяна Анпилова, ему прострелили ногу, будто бы он скрывался в чужом сарае, как последний вор, и эта новость подавалась народу с нарочитой издевкою и ухмылкою, презрительно, через отвисшую губу, чтобы унижить уже поверженного, снять с него геройский флер трибуна и вождя униженных, за которым в октябрьские дни пошли тысячи простонародья, словно бы говоривший известие журналист, неряшливо обросший щетиною, в круглых очёчках “а-ля Берия” — человек воистину геройских качеств, и в трагических обстоятельствах уж он-то не пушится в бега, как заяц от гончей, но предпочтёт пулю в лоб...

“Пришло время нечестивых и блудливых, — сказал мрачно Проханов. — Этим

расстрелом они сами подписали себе приговор... Кто-то ведь выдал?” – вдруг добавил он, имея в виду Анпилова.

“Наверняка сосед по даче”, – сказал я. Анпилов был ленинцем, о вожде у нас были споры, но сейчас мне было искренне жаль его. Я представил, как тащат Анпилова с чердака, пересчитывая его голову ступени, заламывают руки, закидывают в машину, терзают кулаками рёбра, грозят тут же добить эту “падлу и большевистскую сволочь”, чтобы зря не волочить по судам. Внешне в Анпилове не было ничего выразительного, гипнотического, что останавливало бы взгляд, – ни картинной красоты, ни стати, ни особой ступи, только, быть может, пылкость природы притягивала, постоянная мальчишеская взволнованность, какая-то бесшабашность, горячность взора, откровенность слова и заставляли выслушать, присмотреться к этому человеку и последовать за ним. Да и лицо-то у него было какое-то не затвердевшее с возрастом, юношеское, с пунцовыми, туго набитыми щеками, твердыми скулями и оперханными губами, будто он только что прискочил с осенней улицы домой и готов снова улизнуть на волю из-под надзора родителей. И говорил он вроде бы не особенно складно, как бы рубил плеча, не выбирая выражений, но ведь именно Анпилов стал Гаврошем Москвы, её любимцем, столица сама выбрала его в свои герои, вожди, атаманы. “И зачем он побежал из Москвы?” – неопределённо спросил я, не глядя на друзей. Мне вдруг стало так тошно, так тоскливо, будто я лишился родного человека. – Затеиваем борьбу – и всё так наивно, так романтически, словно дворовые мальчишки сбежали в стаю: ни тылов, ни подполья, ни самообороны, ни конспирации, ни явок, ни тайных квартир. И всюду уши КГБ, доносчики, сексоты и осведомители. Только пукнул, а уже на плёнке записано. Бутылка водки на троих – и один “шпик”. И что ж? Случилась беда, и куда человеку деться, где приклонить голову? И зачем Анпилов побежал из столицы? Сразу тысячи глаз вокруг, как на рентгене. А Москва всех спрячет...”

(Окончание следует)